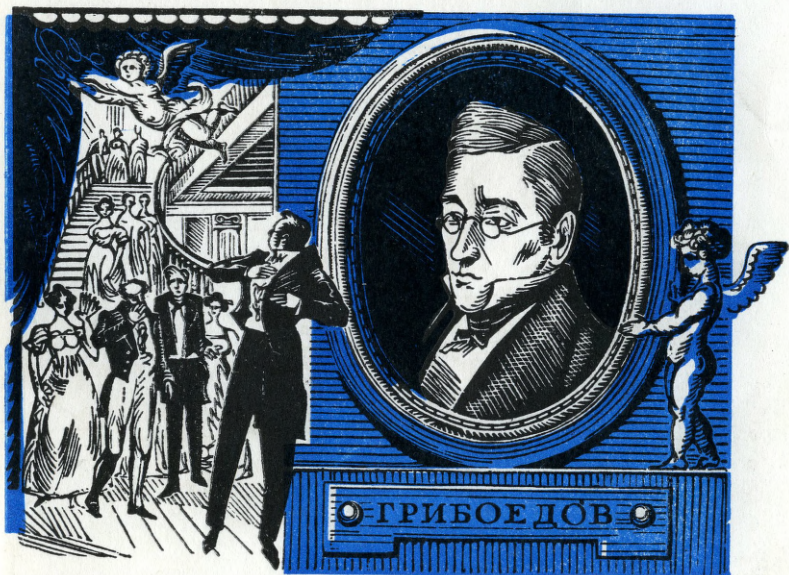


3

Русская речь

1972



Русская речь

Научно-популярный журнал
Института русского языка Академии наук СССР
Основан в 1967 году. Выходит 6 раз в год
Издательство «Наука». Москва

№ 3, 1972 май — июнь

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Л. И. Еремина. Языковая маска и лицо	3
В. Дмитриев. «Числом поболее — ценою подешевле...»	14
И. А. Битюгова. Об одном стихотворении Н. А. Некрасова	17
В. П. Ковалев. Бунинские «рисунки пером»	22
И. Ф. Кузнецова. «Немного, но многое»	29
Е. Гибет. Гимн красоте	34

СЛОВО ПИСАТЕЛЮ

В. Очеретин. Не мода, а дело жизни	42
--	----

КУЛЬТУРА РЕЧИ

К. С. Горбачевич. Нормы ударения и современная поэзия	50
И. Г. Васильева. О речи и тексте	53
И. Ю. Промптова. Первое условие художественности	62
А. Н. Тихонов. Гераневый или гераниевый?	68

ГРАММАТИКА

Л. Н. Макеев. Читая былины...	72
---	----

ШКОЛА

Л. П. Федоренко. От содержания к форме	80
Учебник родного языка	88

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

К. П. Смолина. С лихвой	93
Н. В. Чурмаева. Всегда ли наказание было «наказанием»?	101

ЯЗЫКИ НАРОДОВ СССР

И. С. Галкин. Финно-угорские языки	107
А. К. Матвеев. Чудское наследие	115
В. К. Журавлев. Влияние было взаимным	124
В. И. Лыткин. Финно-угорские заимствования в русском языке	128

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Р. А. Будагов. Закон многозначности слова	132
---	-----

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

П. С. Пустовалов. К экзамену по русскому языку (беседа третья)	141
--	-----

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

В. Б. Стихи	147
-----------------------	-----

КОНСУЛЬТАЦИИ

Словарь произношения и ударения	149
Старинные меры длины	151

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»	154
--------------------------------	-----

На обложке: А. С. Грибоедов
Гравюра Ю. И. Космынина

При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна

ЯЗЫКОВАЯ МАСКА И ЛИЦО

*(по комедии А. С. Грибоедова
«Горе от ума»)*

Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» еще в то время, когда она ходила по Москве в многочисленных рукописных списках, обратила на себя внимание современников прежде всего оригинальностью языка.

А. А. Бестужев с восторгом отметил «ум и остроумие в речах, невиданную доселе беглость и природу разговорного русского языка в стихах». В. Ф. Одоевский писал: «...У одного г-на Грибоедова мы находим непринужденный, легкий, совершенно такой язык, каким говорят у нас в обществах, у него одного в слоге находим мы колорит русский». А. С. Пушкин по прочтении «Горя от ума», привезенной в Михайловское И. И. Пущиным, в письме к А. А. Бестужеву заметил о языке комедии: «О стихах я не говорю, половина — должна войти в поговорку».

Что же привело в такой восторг современников и почти полтора столетия удерживает внимание читателей и зрителей? Почему и до сих пор «Горе от ума» «живет своею нетленной жизнью, переживает и еще много эпох и все не утратит своей жизненности»? (И. А. Гончаров). Причин такой неувядающей свежести много. Мы займемся одной из них — языком бессмертной комедии.

При внимательном чтении комедии нельзя не заметить, что многие персонажи — участники действия не столько стремятся

«раскрыть себя» в речи, сколько стараются спрятаться, замаскироваться, скрыть свое подлинное лицо за неким образом — «маской».

Понятие «языковая маска» встречается в работах профессора Г. О. Винокура в значении, близком театральной сценической маске. Языковая маска персонажа, по Г. О. Винокуру, — это «...свойства речи, в той или иной степени разобщающие его с остальными персонажами, причем принадлежащие ему как нечто постоянное и непреходящее, сопровождающие его в любом его поступке или жесте...» (Избранные работы по русскому языку. М., 1959, стр. 297).

Мы воспользуемся термином «языковая маска» несколько в другом плане, условимся понимать под языковой маской не внешние черты, не опознавательные знаки того или другого персонажа; метод «языковой маски» важен для нас как средство раскрытия, обнаружения характера персонажа, его духовного облика. В этом смысле «языковая маска» используется Грибоедовым в комедии «Горе от ума» значительно шире, разнообразнее и глубже, чем это явствует из работы Г. О. Винокура.

Основу языковой маски могут составлять индивидуальные особенности слово- и формообразования, логико-синтаксическая организация текста, своеобразный лексический состав реплик.

В комедии Грибоедова наряду с одноплановыми персонажами вроде семейства князей Тугоуховских, графини-бабушки есть действующие лица, речь которых многопланова. Так, Молчалин в разговоре с Софьей очень отличается от Молчалина, разговаривающего с Лизой. С Фамусовым он говорит совсем не так, как, скажем, с Чацким и т. д. Именно поэтому речь каждого из действующих лиц следует рассматривать во всех связях и взаимодействиях с окружающими.

В составе языковой маски должны быть объединены те речевые качества, которые характерны для данного персонажа комедии в конкретной и близких к ней сценических ситуациях. Можно отметить, например, черты языковой маски Молчалина: типично молчалинские приемы в системе словообразования; обилие уменьшительно-ласкательных аффиксов, постпозитивная частица -с как знак почтительности, характерный словарный состав.

Показательно, что все эти свойства языковой маски Молчалина присутствуют не только в его собственной речи, но, что особенно важно, и в речи других персонажей, говорящих о нем. Языковая маска, таким образом, выступает как средство выявления несобственно-прямой речи. Так, в речи Чацкого, только что появившегося в доме Фамусова, вместе с именем Молчалина всплывают и характерные черты молчалинской языковой маски:

Бывало песенок где новеньких тетрадь
Увидит, пристаёт: пожалуйста списать.

Характерно, что сразу же определено и отношение Чацкого к действиям Молчалина: «...Увидит, пристаёт...». В этих двух стихах дан такой яркий речевой портрет «бессловесного», что Софья, не выдержав, говорит «в сторону»: «Не человек, змея!». Причем молчалинский текст здесь органично включен в реплику Чацкого. А вот собственная речь Молчалина в диалоге с Лизой:

Есть у меня вещицы три:
Есть туалет, прехитрая работа —
Снаружи зеркальце и зеркальце внутри,
Кругом все прорезь, позолота;
Подушечка, из бисера узор;
И перламутровый прибор:
Игольничек и ножинки, как милы!
Жемчужинки, растертые в белилы!
Помада есть для губ и для других причин,
С духами сткляночки: резеда и жасмин.

Ведь, кроме Лизы, только Чацкий видит в Молчалине под маской рабского усердия и приниженной угодливости вкрадчивую настойчивость. Отсюда и соответствующий ряд сказуемых, которыми пользуется Чацкий в определении действий и качеств Молчалина:

Услужлив, скромненький, в лице румянец есть.
Вот он на цыпочках, и не богат словами;
Какою ворожкой умел к ней в сердце влезть!..

Там моську вовремя погладит,
Тут в пору карточку вотрет.

Ласковая покорность бессловесного молчальника — маска Молчалина в обращении с сильными мира сего. В разговоре с Фамусовым и знатными гостями на балу, да и с Софьей, он ограничивается коротенькими репликами в один стих: «Я-с»; «Сейчас с прогулки»; «С бумагами-с»; «Я вам советовать не смею»; «Мне отсоветовал в Москве служить в Архивах» и т. д. Этот робкий «бессловесный», как называет Молчалина Чацкий, в обществе Лизы сбрасывает свою маску и перестает быть «собственно Молчалиным», вместо реплик в один стих — монолог в 10 стихов (см. приведенный выше монолог «Есть у меня вещицы три...»), а также монолог в 13 стихов «Не знаю. А меня так разбирает дрожь...» — действие IV, явление 12). Правда, молчалинская аффиксация как характерная черта его языковой маски сохраняется и здесь, в разговоре с Лизой. Молчалин и в сценах с Лизой неизменно нежен и слащав: «Какое личико твое! Как я тебя люблю!». Кто б отгадал, что в этих щечках, в этих жилках Любви еще румянец не играл! Охота быть тебе лишь только на посылках!» — восклицает разнеженно Алексей Степаныч (в сценах с Лизой он так многословен, что называть его Молчалиным нельзя).

Уменьшительно-ласкательная аффиксация — основной тон в обращении Молчалина с прекрасным полом — от старухи Хлестовой: «Ваш шпиц — прелестный шпиц, не более наперстка, Я гладил все его: как шелковая шерстка», до Лизы: «Мой ангельчик, желал бы вполонину К ней то же чувствовать, что чувствую к тебе»...

Характерно, что в разговоре с Лизой Молчалин не стесняется себя нормами литературного языка, в его речи появляются разговорные формы и обороты:

Сегодня болен я, обязанности не сниму...

Да что? открыть ли душу...

Поди,
Надежды много впереди,
Без свадьбы время проволочим.

...Да нет, как ни твержу себе,
Готовлюсь нежным быть, а свижусь — и простыну.

Молчалин глубоко презирает романтический, взятый из сентиментальных романов идеал Софьи, мечтающей о благородном, скромном, умном, робком и бедном возлюбленном, и отзывается о ней в том же оскорбительно просторечном тоне: «Пойдем любовь делить плачевной нашей крали». В сложной иерархии от «хозяина, где доведется жить» и «начальника, с кем буду я служить» до «собаки дворника» Софья занимает совершенно определенное место: «И вот любовника я принимаю вид в угодность дочери такого человека...».

Молчание как средство продвижения по службе, как средство самоутверждения в фамусовском обществе — основной психологический и тактический прием Молчалина. Эта черта — безмолвие — обращает на себя внимание и Чацкого, когда он вспомнил про Молчалина: «Еще ли не сломил безмолвия печати?», и в отзыве Софьи:

При батюшке три года служит,
Тот часто без толку сердит,
А он безмолвием его обезоружит...

Другая сторона маски «бессловесного»: Молчалин — «умеренный и аккуратный» чиновник, проявляется во взаимоотношениях с Фамусовым. Постпозитивный членик -с, как правило, сопровождает почти каждую реплику Молчалина: «Я-с», «с бумагами-с»; появляются канцелярски-чиновничьи обороты;

Я только нес их для доклада,
Что в ход нельзя пустить без справок, без иных,
Противуречья есть, и многое не дельно.

Канцелярски-деловой стиль представлен в комедии слабо, да это и неудивительно: дела или «бумаги», как их называет Фамусов, мало занимали и начальника и подчиненного. Фамусов не без насмешки спрашивает своего помощника: «...Что это вдруг припало Усердые к письменным делам!».

Молчалинщина и фамусовщина — две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны действительности. И Молчалин это отлично понимает, отсюда и обобщенное «мы» в разговоре с Чацким. «Как удивлялись мы!—воскликает Молчалин.— Жалели вас». В этом «мы» — вся фамусовская Москва, где нашлось теплое местечко и для Молчалина, в этом «мы» — и все «судьи» Чацкого. «Не я один, все так же осуждают»,— говорит Фамусов.

Молчалин почти «свой» в этом обществе, отсюда и снисходительно-доброжелательный совет: «Ну, право, что бы вам в Москве у нас служить?». Полуспрашивает, полупредлагает Молчалин служить «у нас», то есть он, уже не скрываясь за маской покорного слуги, объединяет себя с фамусовской государственной машиной, считая, и не без основания, себя необходимой ее частью.

Упоение своим ничтожеством перед всемогущими московскими тузами и их «дражайшими половинами» передается очень своеобразным повтором с последовательно нарастающей восклицательной интонацией, получается своего рода градация административного восторга: первая реплика Молчалина — интонация сообщения: «Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, из Петербурга воротятся...».

Чацкий: Ей почему забота?

Молчалин: Татьяне Юрьевне!

Чацкий: Я с нею не знаком.

Молчалин: С Татьяной Юрьевой!!

Чацкий: С ней век мы не встречались;
Слышал, что вздорная.

Молчалин: Да это полно та ли-с?

Татьяна Юрьевна!!!

Навязчивое четырехкратное повторение сочетания «Татьяна Юрьевна» вызывает откровенно раздраженную реплику Чацкого, но Молчалин, как бы не слушая и не слыша собеседника, продолжает изливать свои восторги в прерывистой, эмоционально-окрашенной конструкции: «Как обходительна! добра! мила! проста! Балы дает нельзя богаче...». Эта «монологизация» диалога, когда говорящий, не слушая возражений собеседника, говорит все о своем, отличается не только эту стену. Можно вспомнить, например, действие II, явление 2, где диалог между Чацким и Фамусовым превращается в своеобразную систему противопоставленных друг другу, самостоятельных монологов. Так говорят не просто представители разных поколений, это представители двух враждебных социальных лагерей русского общества, двух враждебных мировоззрений.

Содержание языковой маски Скалозуба составляют не только и, пожалуй, не столько лексические элементы, сколько особенности логико-синтаксической организации речи. В репликах Скалозуба не просто много военной лексики в ситуации отнюдь не военной. Характерно, что эта военная лексика дана в пародийном смешении с просторечием и элементами книжного стиля. Нарушение лексической сочетаемости компонентов, логической и синтаксической незаконченности своеобразной «обрубленной» фразы — все это черты, составляющие основу языковой маски Скалозуба.

Первая реплика Скалозуба, с которой он появляется в доме Фамусова: «Зачем же лазить например самим!.. Мне совестно, как честный офицер», где просторечный глагол *лазить* находится в непосредственном соседстве с типично книжным *например*. Показательно, что «вводные» слова *например, впрочем* в речи Скалозуба не являются модальными, так как присутствуют в речи как чистое украшение, орнамент, принадлежность «учености». Вторая фраза построена совсем уж «рассудку вопреки»: «Мне совестно, как честный офицер». И на конце точка, а не многоточие, то есть с точки зрения говорящего и предложение и мысль закончены. А в грамматическом и логическом плане это часть конструкции, мысли. Характерно, что этот алогизм типичен для Скалозуба. Автор намеренно создает впечатление, что у этого действующего лица нет или почти нет «своих» слов, и поэтому он пользуется набором чужих кусков речи, не очень заботясь об их логической связи и завершенности. Получается очень своеобразная «лоскутная» речь. Косноязычная щеголеватость Скалозуба тонко подмечена Лизой, которая в разговоре с Софьей так отзывается о нем: «Да-с, так сказать речист, а больно не хитер».

Эта характеристика подтверждается всем развитием диалога и действия в комедии. В ответ на намеки Фамусова, прочившего свою дочь в жены Скалозубу:

...дай бог здоровья вам
И генеральский чин; а там
Зачем откладывать бы дальше,
Речь завести об генеральше?

Скалозуб, ничуть не смущаясь присутствием Чацкого и как бы стараясь проверить, о том ли речь, не ошибся ли он, без всяких перифразов и недомолвок полуспрашивает: «Жениться? Я ничуть не прочь». В этом же стиле Скалозуб изъясняется и дальше, его «лоскутная речь» по-прежнему состоит из обрывков чужих слов и мыслей, отражающихся в сознании Скалозуба искаженно, как в кривом зеркале. Так, выслушав пламенный монолог Чацкого (действие II,

средства, например сравнительный оборот «дивятся, будто солнцам»; повторяющийся риторический вопрос «...когда отстали? в чем?»; какой-то неуклюжий намек на градацию в варьировании па все лады «к гвардии, к гвардейским, к гвардионцам». Но вся эта орнаментальная картинность не осмыслена говорящим, отсюда и алогичность реплики. Примеров нарушения логической связи в репликах Скалозуба очень много. Явление 9-е (действие II) открывается восклицанием:

Воскрес и невредим, рука
Ушибена слегка,
И впрочем все фальшивая тревога,—

говорит Скалозуб, не очень задумываясь над тем, что нет необходимости «воскресать» человеку «невредимому». Логически эти два слова в качестве однородных членов несовместимы, да и второе предложение находится в явном противоречии с первым. Просторечная форма *ушибена* (вместо *ушиблена*) в непосредственном соседстве с книжным *впрочем* и военно-терминологическим *фальшивая тревога*, присоединяемым союзом *и* вместо ожидаемых противительных *а, но*, которые были бы тут больше к месту, чтобы хоть как-то увязать два соседних стиха. И снова (как и в разговоре с Фамусовым о генеральском чине и генеральше) младенчески-откровенная реакция на обморок Софьи: «Ну! я не знал, что будет из того Вам ирритация. Опрометью вбежали. — Мы вздрогнули! — Вы в обморок упали, И что ж? — весь страх из ничего», где военный термин *ирритация* (от латинского *irritatio* ‘волнение, возбуждение’) соседствует с просторечным *опрометью*.

Так маска обнаруживает духовное убожество, прикрываемое своеобразным словесным «мундиром». Блестки чужого ума, чужого красноречия, как яркие заплаты, только подчеркивают скудные собственно скалозубовские возможности. Чацкий напрасно отнес в неопределенное прошлое известные слова о защитной роли мундира:

Мундир! один мундир! он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету...

Есть ли под этим «мундиром-маской» что-нибудь, что хоть приблизительно могло бы быть «лицом» этого «созвездия маневров и мазурки»? Несомненно есть! Скалозуб без маски немногословен. Привыкнув разговаривать с нижними чинами языком приказов и команд, он иначе говорить или никогда не умел или разучился. Просторечная лексика и очень внимательное отношение к цифрам, числам, наименованиям родов войск, точность в справках, когда



Рисунок
Н. В. Кузьмина
Гослитиздат
1963

получен чин или орден,— вот основной лексико-семантический фон реплик Скалозуба:

В тринадцатом году мы отличались с братом
В тридцатом егерском, а после в сорок пятом.

За третье августа, засели мы в траншею:
Ему дан с бантом, мне на шею.

Поводья затянул, ну, жалкий же ездук.
Взглянуть, как треснулся он, грудью или в бок?

Все это говорит сам Скалозуб! Репетилов ошибся, по легкомыслию сказав: «Все служба на уме...». Не на уме, а вместо ума...

Итак, уже первые реплики Молчалина и Скалозуба выявляют существо их языковых масок. Любопытно сравнить первые реплики Молчалина и Скалозуба с первой репликой их антипода — Чацкого.



Еще современников Грибоедова удивляло то обстоятельство, что Чацкий говорит обо всем и со всеми действующими лицами в одном и том же тоне, не стараясь как-то подладиться, приспособиться к своим слушателям и собеседникам. Дело в том, что у Чацкого нет языковой маски, только л и ц о. Именно поэтому, начиная с его по-

явления в доме Фамусова и кончая разрывом с фамусовским обществом и отъездом, речь Чацкого не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений. Языковая индивидуализация как средство образного определения, выявления характера действующего лица, его мировоззрения, пристрастий, особенностей душевного склада и т. д., пожалуй, особенно ярко сказалась в первой реплике Чацкого, с которой он появляется в доме Фамусова после трех лет отсутствия. Склонность Чацкого к острословию, переплетение в речи прямых и метафорических значений слова, «игра словами»:

Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног!

Его эмоциональность (которая, кстати, подчеркивается и автором в ремарке «с жаром целует руку») проявляется в прерывистых конструкциях, где после каждой части фразы стоит восклицательный или вопросительный знак, который, однако, вовсе не знаменует собой конец предложения, что подтверждается и орфографически — написанием строчной буквы после них:

Ну поцелуйте же, не ждали? говорите!
Удивлены? и только? вот прием!

Конструкции, характерные для дворянского разговорного просторечия:

Мы мочи нет друг другу надоели;
Ни на волос любви!..

И между тем, не вспомнюсь...

Положительные конструкции вместо и взамен резко отрицательных как особое средство речевой выразительности, характерное для разговорного стиля: «Ни на волос любви! куда как хороши!». Просторечие, которое целиком оправдывается сценической ситуацией: ведь Чацкий вернулся в дом, где прошло его детство и юность, вернулся к Софье, с которой был связан не только «детской дружбой»... В «Горе от ума» Чацкий не просто образованный человек своего времени, но еще и оратор. И уже в первом, небольшом по размеру, монологе употреблены многие типично ораторские приемы.

Анафора:

Как будто не прошло недели,
Как будто бы вчера вдвоем...

Метафора:

Верст больше седьмисот пронесся, ветер, буря...

Гипербола:

Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря...

Повтор усилительной частицы союзного происхождения в про-
нически окрашенном тексте:

И растерялся весь, и падал сколько раз —
И вот за подвиги награда!

Уже в этом монологе сказались и славянофильские симпатии Чац-
кого; см. словообразование по старославянскому образцу: «Что ж
ради? нет?» (и дальше: «Вы *ради?* в добрый час») в именах прила-
гательных нечленной формы; в сложных числительных: «Верст
больше *сѣдмисот...* (и дальше: «В *сѣдмнадцать* лет вы расцвели
прелестно...»). Эти старославянские формы до сих пор не были от-
мечены в обширной литературе о комедии Грибоедова. Г. О. Вино-
кур писал: «...в ней [в комедии «Горе от ума»] нет буквально ни од-
ного славянизма...» (указ. соч., стр. 293). Такое формообразование
во времена Чацкого, современника Грибоедова и Пушкина, могло
встретиться только со специальным стилистическим заданием. По-
казательно, что «Словарь языка Пушкина» зарегистрировал, напри-
мер, только одну (!) форму *ради* (вместо *рады*) в «Сказке о мерт-
вой царевне и о семи богатырях»:

Взять тебя мы все бы ради,
Да нельзя. Так бога ради,
Помири нас как-нибудь,
Одному женою будь,
Прочим ласковой сестрою...

Здесь *ради* (краткое прилагательное) и *ради* (предлог) — омо-
формы, употребленные не только как средство некоторой стилиза-
ции, но и как средство создания полной рифмы с оттенком каламбу-
ра. Подобное формообразование по старославянскому образцу счи-
талось и в те времена уже безнадежно устаревшим и пригодным
только в самом высоком риторическом стиле (см. стихотворение
Пушкина «Пророк»). У Чацкого эти формы употреблены отнюдь не
случайно, а со специальным стилистическим заданием — показать
приверженность говорящего к старине, к старорусским обычаям и
в одежде, и в речи. Если Чацкий уже в первом монологе выступает
во всеоружии всех средств языковой выразительности и вырази-
тельности, то в речи Скалозуба, его антипода, на всем протяжении
пьесы появился всего один-единственный троп — сравнение; «ди-
вятся, будто солнцам», да и то под влиянием красноречивого собе-
седника, того же Чацкого.

Итак, говоря о «языковой маске» применительно к комедии
А. С. Грибоедова, следует иметь в виду не внешние приметы,
а «маску» как в ы р а ж е н и е, х а р а к т е р и с т и к у персонажа; при-
чем все черты языковой маски выявляются уже в первой реплике.

Л. И. ЕРЕМИНА

«ЧИСЛОМ ПОБОЛЕЕ — ЦЕНОЮ ПОДЕШЕВЛЕ...»

Популярность «Горя от ума» Грибоедова была так велика, что нашлись подражатели, взявшие на себя задачу дополнить, досочинить продолжение пьесы.

В 1865 году появилась комедия «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки», автором которой была Ростопчина, в свое время довольно известная поэтесса. В этой комедии те же персонажи, что и у Грибоедова, но постаревшие на четверть века. Фамусову — под восемьдесят; Софье — сорок три, она давно замужем за Скалозубом, который все-таки дослужился до генерала; у них четверо взрослых детей — два сына и две дочери. Молчалин уже в больших чинах, награжден орденом, метит в сенаторы, по-прежнему живет в доме Фамусова и совсем прибрал старика к рукам. Загорецкий женился на купчихе, пустил ее капиталы в ход, стал спекулировать и нажил миллионы; все перед ним лебезят.

Один лишь Чацкий не изменился и остался при прежних убеждениях, но постарел и начал носить бородку à la Наполеон III. Он посвятил себя науке, пишет статьи в ученые журналы и после долгого отсутствия вернулся наконец на родину. Сцены, свидетелем которых ему пришлось сделаться в доме Фамусова, поднимают со дна его души прежнюю желчь; он снова готов проклясть Москву и бежать, хотя Софья не прочь выдать за него свою старшую дочь Веру.

Основное сходство комедий Грибоедова и Ростопчиной в том, что здесь и там московское общество показано са-

тирически. За 25 лет это общество сильно изменилось: появились новые люди, с новыми взглядами на жизнь; дух нового времени должен был подействовать и на натуры старого закала. Ростопчина сделала попытку высмеять новые веяния, характерные для московского общества середины прошлого века и во времена Грибоедова еще не существовавшие.

Чтобы показать эти новые веяния, автор «Возврата Чацкого в Москву» разделила постаревших персонажей «Горя от ума» на две партии. Платон Михайлович и его жена стали яркими славянофилами, а княжны Мими и Зизи Тугоуховские — карикатурами на «эмансипированных женщин». Беспринципная Софья поддакивает всем, а ее отец и муж интересуются только картами.

Введены новые действующие лица: прообраз нигилиста — Петров, учитель в семье Скалозубов, который оказывается соблазнителем Веры и одновременно ведет интрижку с ее матерью; ультра-патриот Элейкин, проповедующий опрощение, призывающий носить тулупы, есть кашу и пить квас; либеральный профессор Феологинский, который, наоборот, всячески восхваляет Европу. Если Элейкин заставляет вспомнить о Хомякове, то Феологинский — о Грановском. Устами Чацкого автор осуждает и того и другого. Княгиня Цветкова, обещающая вконец разочарованному Чацкому, что в ее доме он найдет порядочных и симпатичных ему людей, — это сама Ростопчина, претендующая на золотую середину.

Использовал персонажей «Горя от ума», чтобы осмеять консервативные взгляды некоторых своих современников, и известный поэт-сатирик Д. Д. Минаев. Его шутка-водевиль «Москвичи на лекции по философии» была опубликована в 1863 году. Чацкий и Софья здесь отсутствуют; мы встречаем Фамусова, Скалозуба, Репетилова, Загорецкого, Платона Михайловича с женой, княгиню Хлестову, чету Тугоуховских с дочерьми. Минаев изобразил их на лекции профессора П. Юркевича, философа-идеалиста, однако сторонника телесных наказаний в школах. Минаев еще раньше писал о нем: «Воспевший нам лозу, в деле наук — Собакевич».

Загорецкий разъясняет перед лекцией, мол, профессор

...постарается публично доказать,
Что человек, в котором мозгу нет,
Быть может мудрецом с громаднейшим умом.

Все собравшиеся ненавидят и боятся нигилистов; по словам того же Загорецкого,

...каждый нигилист —
Пьянчуга, мот, картежник, забулдыга
И на руку, случается, нечист.

Полковник Скалозуб заявляет:

Не очень я люблю ученых рассуждений:
Лишь их послушаешь — и станешь нездоров.

Таким образом, в водевиле Минаева персонажи, выведенные когда-то Грибоедовым, остаются ретроgrадами и невеждами, но их выпады злободневны. Это и было целью автора; о самих персонажах мы ничего нового не узнаем.

Еще позже, в 1881 году, перекройкой «Горя от ума» занялся Марк Ярон, автор ряда водевилей и либретто. Он переделал грибоедовских героев в костюмы конца XIX века, заставил говорить на модные темы: об аферах на железнодорожном строительстве, о крушениях поездов, о бегстве банковских кассиров с деньгами за границу.

Герои Грибоедова в пьесе Ярона измельчали, выродились. Если Фамусов в последнем акте грозился: «В сенат подам, министрам, государю!», то теперь у него масштабы не те: «В квартал подам, в участок, мировому!». Прежнего Фамусова беспокоило, что скажет княгиня Марья Алексеевна; нового — что станет говорить квартальный надзиратель. Зато он сулит выслать Софью уже не «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», а в места куда более отдаленные: «В Тобольск сошлю, в Иркутск... нет, дальше, на Амур!».

Пьесы Ростопчиной, Минаева, Ярона всего лишь жалкие подражания бессмертной комедии. Поэтому их уделом стало вполне заслуженное забвение. «Горе от ума» настолько законченное произведение, что не нуждается ни в продолжении, ни в дополнении.

Валентин ДМИТРИЕВ

ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ Н. А. НЕКРАСОВА

На полях рукописи стихотворения «Уныние» Некрасов сформулировал свое понимание сущности лирической поэзии: «Сравнение — поэзия, картина — поэзия, событие может быть поэтично, природа — поэзия, чувство — поэзия, а мысль — всегда проза, как плод анализа, изучения, холодного размышления — но не следует ли из этого, что поэзия должна обходиться без мысли? дело в том, что эта мысль-проза в то же время — сила, жизнь, без которых собственно и нет истинной поэзии.

И вот из гармонического сочетания этой мысли-прозы с поэзией и выходит настоящая поэзия, способная удовлетворить взрослого человека, и — в этом задача поэта». Образец такого гармонического соединения аналитического и лирического начал представляет стихотворение Некрасова «На родине», состоящее всего из одного восьмистишия.

Показательна творческая история стихотворения. Главная его мысль рано возникла в сознании поэта. Незадолго до смерти, в начале 1877 года, тяжело больной Некрасов продиктовал сестре А. А. Буткевич: «Судьбе угодно было, чтобы я пользовался крепостным хлебом только до 16 лет, далее я не только никогда не владел крепостными, но будучи наследником своих отцов, имевших родовые поместья, не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли. <...> Я когда-то написал:

Хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок...

нравственное чувство «сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести», то «у иных,— писал критик, скорее всего имея в виду Некрасова,— оно очищено страданием, отрицанием, просветлено сознательным убеждением...».

Открывающая стихотворение строка сразу же поражает неожиданным словосочетанием «хлеба заповедные», в котором уже, как в сгустке, сконцентрирована поэтическая тема стихотворения. Эпитет *заповедные* Некрасов употребляет с ударением на предпоследнем слоге, ориентируясь на прежние, характерные для XVIII — начала XIX века и еще бытующие тогда в народной среде нормы произношения. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля зарегистрировано: «Заповедной, заповеданый или к заповедке относящийся; заказанный, запрещенный». *Заповедка* раскрывается у Даля через синоним *заповедник* и поясняется: «ср. заповедной лес, роща, где рубка заповедана, запрещена; божелье, пуца, запретник, засека, молёный лес, заказник, засеки, запуск, заказная роща...». Таким образом, бывают заповедные рощи, луга, леса, пруды. Некрасов называет заповедными вырощенные крестьянами хлеба и обогащает дополнительными оттенками смысла оба указанных Далем значения этого слова. В стихотворении это и особенно дорогие, священные поля, хранящие в себе сокровенную тайну, и поля, плоды которых поэт считает для себя заказанными, запретными.

Выразителем и ритмический рисунок стихотворения. Глубокой внутренней взволнованности поэта соответствует прерывистое, как бы импульсивное движение стиха — чередование пятистопного и двухстопного ямба с перекрестной женской и мужской рифмой, смена длинных и коротких строк, разделенных паузами. В предпоследней, четвертой строке каждой длинной строки возникают два безударных слога (пиррихий), которые несколько ослабляют к концу этих строк напряженность лирического ритма, оттеняя ноты грустной усталости в голосе поэта и одновременно выделяя заключительные слова: заповедные, наливные, небесами, рабами. В коротких строках, напротив, появляются дополнительные ударные слоги (в четвертой, шестой и восьмой строках); образуется два таких слога (спондея) и в пятой длинной строке, начинающейся эмоциональным восклицанием.

Все эти ритмические «перепады» воссоздают живую трепетность речи больного поэта, напряженность его переживаний. Длинные и короткие строки несут и различную стилистическую нагрузку. Если в первых рисуется величественная, почти эпическая картина, или дается начало очередной поэтической мысли, то во вторых следует энергичное эмоциональное заключение.

В стихотворении контрастно сопоставляются два образа — колосющихся полей, которые «роскошны», и поэта, признающего, что он «чуть жив!». Противоположна большей частью и лексика, относящаяся к этим образам. С полями связана высокая, торжественная: заповедные, нивы, возделанных рабами. Там же, где поэт говорит о себе, господствуют разговорные интонации, просторечия: «А я чуть жив»; «Нейдет мне впрок». Исключение представляют строки:

Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок...

В приведенном выше первоначальном черновом варианте стихотворения Некрасов давал непосредственную поэтическую формулу своей ответственности «за грех отцов», в силу которого и хлеб с полей, вспаханных и засеянных крепостными, ему «нездоров». Выражение заложенной в этих строках горькой иронии усиливается в окончательной редакции стихотворения и заменой наречия *видно* на *странно* (в значении 'необычно, не так, как другие, наперекор сложившейся веками традиции') и соотношением оборотов и слов, намеренно взятых из романтической поэзии (создан небесами, рок), с разговорно-прозаическими (таков, нейдет мне впрок).

Поля, к которым обращается поэт, одухотворены. Они изображены зримо, объемно, почти скульптурно и в то же время в движении: «Цветут, растут колосья наливные». Трагизм мироощущения поэта обусловлен не только его физическим состоянием, но и осознанием непримиримой противоречивости своего социального положения, противоестественности рабства природе вообще и человеческой природе в частности, чувством одиночества. Позднее, в 1857 году, в единении, слиянии с теми же полями он обретет силы:

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор.

Тишина

Как символ глубинной народной России предстанут «колосья бесконечных нив» в стихотворении «В столицах шум, гремят витии»; и в последнем опубликованном тексте этого стихотворения (редакция 1858 г.), и в стихотворении «На родине» тихие, цветущие поля ржи таят загадку судьбы народа, его прошлое, настоящее и будущее.

И. А. БИТЮГОВА
Ленинград

В РОЗОВОМ СВЕТЕ (ЦВЕТЕ)

В первом номере журнала за 1971 год, в разделе «Почта „Русской речи“» помещена заметка Л. В. Муковозова «О языке „Сельской жизни“».

Нельзя согласиться с утверждением автора о том, что в предложении: «Не было бы грубой ошибкой все представлять в розовом цвете» — употребление слова *цвет* недопустимо («надо: *свете*»). Л. В. Муковозов констатирует: «речь ведь идет не о перекрашивании из одного цвета в другой, а о том, в каком освещении представляются факты». Это не совсем верно.

Во-первых, в данном предложении слово *цвет* употреблено не в прямом значении «окраска». Здесь не отдельное слово, а компонент фразеологической единицы *в розовом цвете*. Этот оборот имеет значение «идеализированно, лучше, чем есть на самом деле (видеть, представлять и т. п. что-либо)».

Во-вторых, нельзя утверждать, что употребление оборота *в розовом цвете* ошибочно, а единственно правильное — *в розовом свете*. В этом обороте наблюдается замена одного из слов, то есть явление вариантности. В сборнике фразеологизмов «Русская мысль и речь» М. И. Михельсона и во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией А. И. Молоткова даны оба варианта.

Видеть в розовом свете — иносказательно «видеть только хорошее, смотреть на все оптимистически». Сравните: «Помню я школу, но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении... Нет, я сегодня настроен так мягко, что все хочу видеть в розовом свете... прочь школу!» (Салтыков-Щедрин. Губернские очерки). «Ты представляешь себе жизнь слишком в розовом цвете... Ты ждешь от нее непременно чего-то хорошего, а она дает не то, чего от нее требуют капризные дети, а только то, что берут у нее с бою люди мужественные и упорные...» (Салтыков-Щедрин. Губернские очерки).

Возможно, Л. В. Муковозов спутал два фразеологических оборота: *в розовом свете (цвете)* и фразеологизированную конструкцию *в свете каком*, имеющую значение «в каком-либо виде, с какой-либо стороны, каким-либо образом (представлять, выставлять, и т. п. кого-либо или что-либо)». «А ты что думал? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова» (Л. Толстой. Хаджи-Мурат). Несомненно, употребление слова *цвет* в этой конструкции было бы ошибочным.

Л. Кругликова



богатстве вырази-
тельных средств про-
зы и поэзии И. А. Бу-
нина заметную роль
играют сложные сло-
ва. Пожалуй, ни один
из его предшествен-
ников или современ-

ников не прибегает так часто к употреблению в изобразительных целях, например, сложных прилагательных и наречий. По склонности к использованию сложных слов ближе других к творчеству Бунина стоит А. И. Куприн, в произведениях которого сложных прилагательных и наречий встречается все же значительно меньше.

Использование Буниным сложных слов служит самым разнообразным стилистическим целям. Естественно, разнообразны при этом и сами выразительные средства. Есть здесь сложные слова как бы вкрашенные в сравнения и определения развернутые: пруд, выпукло-полный, зер-



БУНИНСКИЕ «РИСУНКИ ПЕРОМ»

кально-телесного тона, очень хорош был, хотя еще плавала на нем одна бутылочно-зеленая льдина; Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском звуков, было древне-дико. Глаза, длинные, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя. Нередко встречаются словообразования трехчленные: трещали воробы в золотисто-зелено-серых прутьях; торчат тугие и острые глянецвито-темно-зеленые трубки ландышей. Применяет Бунин сложные образования как в собственно художественных произведениях, так и в воспоминаниях, авторских черновых записях: фальшиво-небрежно стряхивает пепел; серо-железные волосы; позы у него непринужденные, гордо-красивые, глаза барски-презрительные (все примеры даны в написании Бунина).

Бунин довольно часто графически объединяет в одну сложную лексическую единицу слова, которые в речи употребляются последовательно, в виде словосочетаний. Вместо обычных сочетаний наречий с прилагательными или причастиями у него находим сложные слова: отчаянно-высокий, изумительно-яркий, естественно-тонкий, вечно-свежий, остро-блестящий, косо-поднятый, таинственно-звонящий, бледно-синеющий (здесь и ниже примеры, приводимые вне контекста, условно даны в форме именительного падежа единственного числа). При этом весьма заметно субъективное понимание автором отличий сложных слов от словосочетаний, границы между ними у Бунина нередко зыбки и подвижны: нежно-четкий и нежно розовый, радостно-блестящий и радостно возбужденный, детски-счастливый и детски счастливый.

В произведениях Бунина встречаются все известные в языке разновидности сложных прилагательных и наречий, построенные на базе сочинительной и подчинительной связи. Однако с точки зрения изучения художественного своеобразия и мастерства писателя интересны прежде всего два типа словосложений, чаще других встречающиеся в его произведениях.

В создании сложных образований Бунин нередко прибегает к соединительной разновидности словосложения, объединяя в одно слово равноправные, независимые элементы: черно-фиолетовый, розово-синий. Использование в изобразительных целях таких образований объясняется прежде всего стремлением писателя экономно, в одной словесной единице, выразить значительное содержание, расширить характеристику предмета. Обратите внимание на смысловую емкость таких прилагательных в примерах: черно-зеленый конус ели, серо-красные тучи, красно-бронзовые волосы, розово-золотая звезда, цыганско-испанское тело.

Большой интерес представляют — и чаще всего встречаются в произведениях Бунина — словосложения, состоящие из прилагательного или причастия, к которому присоединено наречное слово (наречие или основа прилагательного в функции наречия). Эти сложные слова позволяют не только расширить характеристику определяемого ими предмета, но и углубить ее.

Как правило, они выражают нечто большее, чем простую сумму значений составляющих их основ. Так, прилагательное *разноцветно-яркий*, употребленное Буниным в сочетании со словом *цветник*, обозначает не только разноцветность и яркость цветника, но и то, что он ярок вследствие своей разноцветности. Такие образования дают возможность писателю выразить тончайшие оттенки разнообразных признаков предметов, явлений и действий: насмешливо-отчетливый голос, загадочно-меланхолические тосты, сероблестящее от соли пространство, (жеребец) жалобно-страстно ржет, лихорадочно-сияющий взор, бесовски-игриво... цел рожок горниста.



Наиболее многочисленна в произведениях Бунина группа сложных прилагательных, обозначающих цвета и их разнообразные оттенки. При этом, конечно, писатель широко использует слова более или менее обычные, достаточно часто встречающиеся в общезыковом обиходе или в языке художественной литературы: светло-зеленый, ярко-красный, серебристо-голубой, зеленовато-белый, мутно-лиловый, тускло-золотой, туманно-розовый.

Индивидуально-авторские образования, характерные необычностью соединения составляющих их частей, как правило, близки к общеязыковым, но все же достаточно своеобразны. Многие буниевские сложные слова связаны с собственно зрительными восприятиями предметов. Необычной в таких случаях может быть как первая, так и вторая часть слова: сумрачно-алый, мгlisto-красный, смутно-сиреневый; темно-ореховый, радужно-ржавый. Нередки при этом и параллельные образования: дымно-красный и краснодымный, смугло-золотистый и золотисто-смуглый.

Более своеобразны и весьма многочисленны у Бунина сложные слова, определяющий цвет и оттенок в которых выражен основой со значением материала, обычно характеризующегося той или иной окраской: зелено-оловянный, грязно-грифельный, серебряно-меловой, золотисто-табачный, серебряно-соломенный; свинцово-тусклый, песчано-желтый, дегтярно-черный, купоросно-зеленый, мышино-голубой. Думается, что вследствие склонности к таким образованиям, возникают и сложные прилагательные, обозначающие цвета только с помощью основ со значением материала: молочно-зеленый, белесо-свинцовый — и молочно-свинцовый; снежно-золотой, сахарно-белый — и снежно-сахарный.

Оттенки цветов могут выражаться также основами, обозначающими и другие, вовсе «нецветовые» признаки, классифицировать которые затруднительно и в данном случае вряд ли целесообразно: холодно-бледный, усиленно-золотистый, пышно-зеленый, неуловимо-лиловатый, таинственно-бледный, курчаво-рыжий, пенно-зеленый, приторно-белый, жестко-белый, сонно-светлый, лаково-красный, мрачно-цветистый.

Комбинации основ-оттенков с основами, обозначающими собственно цвета, очень разнообразны и многочисленны: зеркально-опаловый, зеркально-светлый, зеркально-белый; воздушно-серебристый, воздушно-голубой, воздушно-фиолетовый, воздушно-сиреневый; нежно-голубой, нежно-алый, нежно-фиолетовый, нежно-лазурный, нежно-лиловый, нежно-зеленый; прозрачно-бледный, прозрачно-серебристый, прозрачно-белый, прозрачно-лимонный, прозрачно-красный, прозрачно-зеленый, прозрачно-желтый и т. п.

Ко второй, большой группе сложных слов относятся образования, обозначающие разные психологические состояния человека. Лишь иногда здесь встречаются слова, более или менее широко употребляемые в литературном обиходе: преувеличенно-спокойно, беззаботно-счастливый, изысканно-вежливый, безотчетно-радостный. Абсолютное большинство слов этой группы — индивидуально-авторские образования, как правило, с очень неожиданными, оригинальными соединениями составляющих частей.

В первую очередь это сложные слова, в которых оба составных элемента относятся к определению, характеристике психологических состояний человека. Палитра оттенков чрезвычайно разнообразна: мужественно-возбужденный и энергично-возбужденный; сдержанно-страстный, нежно-страстный, изнурительно-страстный и стремительно-страстно; резко-веселый и загадочно-веселый; бесстыдно-грустный, томительно-грустный, ласково-грустный, задумчиво-грустный, презрительно-грустный, серьезно-грустный и мирно-грустный.

Как и в составе цветовой лексики, встречаются сложные слова с одинаковыми основами, стоящими на первом и на втором месте: насмешливо-торжественный и сонно-насмешливый; радостно-молодецкий и наивно-радостный; встречаются также и параллельные образования: бешено-радостный — радостно-бешеный.

Если комбинации основ со значением цвета с другими, «нецветовыми» основами очень многочисленны и разнообразны, то в сложных словах, относящихся к характеристике психологических состояний человека, подобное соединение разнородных признаков встречается значительно реже. В словах со второй частью, обозначающей психологические состояния, изредка на первом месте находятся основы со значением степени признака: безобразно-ужасен, невыразимо-отрадный; в единичных случаях в начале слов могут быть и элементы с другими значениями: древне-печальный, сонно-насмешливый. Несколько чаще можно встретить образования, в которых на первом месте оказываются основы, обозначающие психологические состояния, а на втором — основы с иными значениями: тревожно-ветренный, меланхолически-прекрасный, презрительно-дремотный, скорбно-поникший, печально-красивый и др.

Кроме сложных слов цветовой и «психологической» лексики, Бунин употребляет и иные довольно необычные соединения основ. Правда, примеров здесь значительно меньше. Так, есть слова, выражающие признаки предметов и явлений по их форме: художавоширокоплечий, серо-курчавый и влажно-курчавый; по материалу: каменисто-мусорный, песчано-каменистый и каменисто-песчаный, желто-каменистый и желто-каменный, красно-сафьяновый, желто-деревянный; по звучанию: торжественно-звучный, хрустально-звенящий; слова, передающие общую качественную, временную, национальную и расовую характеристику: пышно-прекрасный, грубовеликолепный, грубо-древний, бесконечно-давний, старинно-русский, русско-восточный. Вот еще некоторые бунинские слова, выражающие разнообразные признаки и свойства: песочно-пантеровый, оперно-крестьянский, густо-ворчливый, восточно-конфетный, летаргически-неподвижный и морозно-неподвижный, тяжко-зыбкий, воздушно-зыбкий, зеркально-зыбкий.

В числе сложных слов с разными смысловыми отношениями между их компонентами выделяется два интересных типа образований. Бунин нередко объединяет в одну сложную лексическую единицу синонимические слова, близкие по значению в языке вообще или сближаемые по смыслу в контексте: пурпурно-кровяные (рубины), необъятно-огромное (небо), надменно-презрительно (смотрел), небрежно-легкий (разговор), черно-вороненое (небо), вельможно-гордые (державинские строки), женственно-любовно (склонилась).

Сложные слова у Бунина могут строиться и на антонимической основе: горько-сладкое (вино), туманно-яркие (звезды), печально-веселые (песни), сердито-ласковое (воркованье голубей), солнечно-мглистые (дали), радостно-грустное (личико) и грустно-радостные (глаза), огненно-черный (зрачок) и темно-огненная (митра).

Самые неожиданные соединения разных и даже противоположных по смыслу основ, конечно, не являются для автора самоцелью, они всегда оправданы, а нередко так или иначе прямо обоснованы в контексте. Например, вряд ли можно усомниться в оправданности и целесообразности соединения слов *жидкий* и *бирюзовый* в употреблении «жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы», *горький* и *сладкий* в примере «испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви», *черный* и *резиновый* применительно к хоботу слона — «хобота с черно-резиновой воронкой на конце», *тяжкий* и *синий*, а также *влажный* и *мглистый*, обозначающих море, — «что-то тяжко-синее, почти черное, влажно-мглистое»; также — рука прачки со *стекловидно-блестящими, тонкими, состиранными пальцами*; *старчески-детское дыхание лысого Сверчка*, у которого «по-детски темны были черные глазки, похожие на маслины»; *мальчишески-женская головка* дамы, волосы которой были «по-мальчишески коротко стриженными». Есть у Бунина и *деревенско-католическая прелесть* храма во французской деревне, и *грешно-скромная девушка* в бальном зале и др.



Индивидуально-авторское словосложение как одно из средств выразительности речи достаточно широко было известно в произведениях предшественников и современников Бунина, например в творчестве Л. Толстого, Тургенева, Лескова, Куприна, М. Горького и некоторых других русских писателей. Однако только у Бу-

нина встречается так много сложных слов, необычайно своеобразных и свежих по комбинированию их составных частей, только Бунин использует это выразительное средство так последовательно, а нередко и очень концентрированно. Оно позволяло ему создавать весьма емкие и яркие определения — эпитеты, с помощью которых отражаются тончайшие оттенки изображаемого. Приведем примеры скопления сложных слов в сравнительно небольших отрывках: «Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на серебряных полянах» (Муза); «Звуки куда-то вели, шли такт за тактом, настойчиво, изысканно-плавно, ликующе, так бессмысленно-божественно-весело, что становились почти страшными, и чудесно-трагический образ вставал перед моим воображением» (Жизнь Арсеньева).

Особенно интересны случаи сосредоточения сложных слов цветовой лексики. М. Горький писал, что у Бунина «все рассказы написаны так, как будто он делает рисунки пером». В системе средств словесно-художественного выражения, позволявших Бунину писать свои произведения так, что они воспринимаются как бы зрительно, весьма заметная роль принадлежит сложным словам. При этом многие пейзажи Бунина настолько живописны, что представляются сделанными не пером, а кистью, красками. В сочетании с обычными словами, обозначающими цвета и динамику их изменений, они позволяли ему создавать необыкновенно красочные и динамичные цветные картины. Например:

«Солнце нынче опускалось в слепящее золото. Океан все штишел. Всюду вокруг нас, по матово-стальным медленно перекачивающимся волнам, тоже текло, переливалось, блистало золото. Мы поднялись с верхней палубы еще выше, на мостик. Океан за это мгновение стал уже весь млечно-стальной с голубым налетом, и по этой безграничной млечности пошли от заката (ставшего менее слепящим, оранжево-золотым) оранжевые глянца, меж тем как небо на востоке стало гелиотроповым, а вдоль бортов медленно изгибалась, как лилово-синие удавы, мертвая волна. Мы поспешили на самую высшую точку, на капитанскую рубку: солнце успело уже скрыться, восточное небо стало фиолетовым, а западное позеленело и пошло по зеленому огненно-оранжевыми полосами, над нами же, в бездонной глубине, ткани облаков, легчайшие, как дамасский газ, окрасились в нежно-малиновый цвет. А через мгновение все опять изменилось: восточный небосклон стал сине-лиловый, море под ним — густо-фиолетовое. И все огненной разгорались полосы на небосклоне закатном. Когда же, с быстро набегающим вечером, превратилось в фиолетовое и западное море, эти полосы раскалились, как темно-рдяное железо в горне» (Воды многие).

Итак, употребление Буниным сложных слов, их индивидуаль-но-авторская окрашенность в его произведениях позволяет даже при таком беглом рассмотрении материала утверждать, что И. А. Бунин в своем творчестве не только сохранил верность традициям классиков, но и развил эти традиции, «стремясь находить соответствующие содержанию краски для яркого зрительного изображения событий и характеров».

В. П. КОВАЛЕВ
Херсон

**«НЕМНОГО,
НО
МНОГОЕ»**



Каждому писателю нужно найти то верное слово, которое отразило бы мысль или чувство, и не только найти, но и создать, а также преобразовать, творчески применить слово в художественном произведении. «Дочитав до конца иной чеховский рассказ, оглядываешься, перелистываешь только что прочитанные страницы и удивляешься, что все прочитанное вместились, оказывается, на десяти страницах. Кажется, что прочитал роман, кажется, что прошла перед тобой целая чужая жизнь. Да нет, не может быть, чтобы десять страничек! Пересчитаешь еще раз — точно, десять. Вот это и есть насто-

ящая емкость» (Солоухин.— «Работа. Писатели о творчестве». М., 1966).

Чехов умел выбирать самые выразительные средства, удаляя из текста все ненужное, лишнее, умел «коротко говорить о длинных предметах» (из письма Е. М. Линтваревой, 23 ноября 1888). Особенно ярко проявилась высокая требовательность писателя к языку и содержанию худо-

жественных произведений при подготовке им собрания сочинений для издательства А. Ф. Маркса. Интересны варианты и корректурные правки, которые вносил Чехов, чтобы было «густо написано: немного, но многое». Стремясь сделать фразу более легкой и лаконичной, Чехов отказывается от предложений со многими подробностями, утомляющими читателя.

Обратимся к вариантам отдельных фраз из рассказа «Невеста».

Черновая рукопись

«Что-то громко застучало где-то далеко в доме, и ей [Наде] показалось, что это ставня сорвалась здесь, в этом этаже.

Беловая рукопись и первая корректура
«Послышался стук, что-то упало на землю, и Наде показалось, что это сорвалась ставня».

Окончательный текст

«Послышался резкий стук, должно быть сорвалась ставня».

Правка показывает самый процесс чеканки формы выражения мысли, поиски самых нужных, самых необходимых слов. Причем «объем» фразы уменьшился почти вдвое.

Но несмотря на то, что Чехова справедливо считают виртуозом краткости («магическое умение говорить коротко и сильно»), было бы неправильным считать, что писатель только вычеркивал, где можно, «лишнее». Иногда одно вновь внесенное слово «заменяет» подробную характеристику персонажа.

Черновая рукопись

«Вошел отец Андрей».

Беловая рукопись

«Вошел отец Андрей *со своей улыбкой*».

Первая корректура и окончательный текст

«Вошел отец Андрей *со своей хитрой улыбкой*».

Эта «маленькая деталь» — *со своей хитрой* улыбкой — служит конкретным примером того, что Чехов «делал фразу» не только для сокращения текста, но и для изменения и углубления того или иного образа.

В письме М. Горькому (3 сентября 1899) А. Чехов делает следующее замечание: «Еще совет: читая корректуру, вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов». Чехов исходил из принципа художествен-

ной сдержанности описаний — основного принципа своей эстетики. Писатель всегда был очень «осмотрителен» в отношении определений: вводил или исключал их в связи с теми задачами, которые он перед собой ставил, отыскивая «единственно возможный порядок единственно возможных слов» (выражение Л. Толстого). Фраза «А мысли были *однообразные*, все те же, что и в прошлую ночь, *ненужные, неотвязчивые...*» после изменения порядка слов приняла следующий вид: «А мысли были все те же, что и в прошлую ночь, *однообразные, ненужные, неотвязчивые...*».

В данном случае перестановка слов-определений в окончательном варианте (так называемая чеховская синтаксическая «триада» — троекратное повторение однородных синтаксических единиц) выступает как средство, с помощью которого фразе придается нужный ритм, нужная мелодия.

Обособленные определения приобретают большую самостоятельность, весомость в заключительных словах фразы, а само предложение в целом получает особую интонационную законченность. Было: «Ей [Наде] стало вдруг скучно, томительно скучно и она чувствовала, что ей в этом городе нельзя оставаться, что она здесь *одинокая, чужая*»; стало: «Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел Сапа, что она здесь *одинокая, чужая, ненужная*». Введение третьего определения в описание характера персонажа связано не только с уточнением и обогащением смыслового значения, но и с ритмико-синтаксической организацией предложения в целом.

Обратимся теперь к рассказу «Анна на шее». Было: «Она танцевала страстно... смеясь, и не думая *ни о муже, ни о ком*»; стало: «Она танцевала страстно... смеясь и не думая *ни о муже, ни о ком, и ни о чем*». Представляется наиболее вероятным, что вставка третьего члена вызвана стремлением «облагозвучить» фразу, сделать ее ритмичной и добиться как бы музыкального завершения предложения.

Глубоко и правильно понимали Чехова те исследователи, которые обратили внимание на лирический план его повествования как на один из характерных признаков стиля художника. Синтаксическим приемом «лирического письма» служит нагнетание бессоюзных однородных членов предложения, особенно в конце фразы. Концовки становятся самыми заметными, самыми слышимыми, и этим

определяется особое внимание автора к их звучанию, потому что концовки фраз завершают мысль. Интересна, на наш взгляд, следующая правка. Было: «...Говорили о том, что она [Аня] вышла из-за денег, за нелюбимого»; стало: «...осуждали ее за то, что она вышла за нелюбимого, нудного, скучного человека».

Именно в определениях в таком сочетании заключен основной смысл предложения, такова их семантико-стилистическая роль. Умелое использование Чеховым явления «трехчленности» однородных синтаксических единиц, несмотря на сравнительную простоту их построения, оказывается очень важным в стилистическом плане.

Если, например, сравнить чеховскую синтаксическую «триаду» с подобной ритмической фразой Бунина, то легко заметить различие между ними. Характерная для Чехова трехчленная конструкция отличается ритмической плавностью, синтаксической стройностью, она лишена метафорической «расцветки». Бунин охотно и часто пользуется сравнениями при однородных членах предложения, что «украшает» фразу.

Рассмотрим один из примеров правки, проведенной Буниным над известным рассказом «Господин из Сан-Франциско».

Первоначальная редакция: «Он [господин из Сан-Франциско] настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он *могал* головой, *хрипел*, как зарезанный». Во втором варианте писатель двухчленную конструкцию заменяет трехчленной, причем при однородных (двух последних) сказуемых имеются сравнения, чего нет у Чехова: «Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он *могал* головой, *хрипел* как зарезанный, *закатил* глаза, как пьяный».

У Чехова, как правило, нет сравнений при однородных членах. Приведем пример из рассказа «Анна на шее». Первый вариант: «Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое» и окончательный: «Аня так же, как мать, могла из старого платья *сделать* новое, *мыть* в бензине перчатки, *брать* на прокат *bioux*».

Но это совсем не значит, что Чехов не пользуется сравнениями. В ходе работы над текстом он часто устраняет малоудачные в стилистическом отношении сравнения, типа «люди как свиньи», «толпа, во все века одинаковая

и безразличная как гроб»; «что-то неопределенное, тяжелое, вроде сна с кошмарами».

Наблюдаются случаи, когда автор устраняет подробности «описательного» характера и заменяет их сравнением. Так, в черновой рукописи «Невесты» читаем, что у Андрея Андреича были «очень мягкие руки с короткими пальцами», которые передают облик праздного, ничего не делающего человека. А в первой корректуре Чехов уже сравнивает руку жениха Нади с жестким, холодным обручем: «...И его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч». Это сравнение очень выразительно, весомо и зримо для читателя. И таких сравнений, которые не бьют на внешний эффект, а придают языку ту особую тонкость и точность, много в произведениях писателя.

Отбор слов, расстановка их во фразе, общий синтаксический строй речи обусловлены теми задачами, которые ставит перед собой автор. В частности, введение и исключение слов-определений проводилось не столько ради «сокращения» текста, сколько для изменения и углубления характера персонажа и содержания произведения в целом. Писатель дорабатывал некоторые предложения, меняя их построение, устраняя синтаксическую тяжеловесность, добиваясь ритмичности и плавности речи. Результатом этой кропотливой работы и является, на наш взгляд, та «настоящая емкость», о которой говорилось в начале статьи.

И. Ф. КУЗНЕЦОВА

ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

I. Исправьте предложения

1. Больше всех городов туристам понравилось Тбилиси.
2. Для произведений А. П. Чехова характерно мелодичность и музыкальность фразы.
3. Он вспомнил друзей своей юности и затосковал по них.

II. Подберите синонимы к словам

Вежливый, мастер, обоснованный, склон, шалун.

(Ответы на стр. 160)

ГИМН КРАСОТЕ



русский национальный писатель П. И. Мельников-Печерский стоит в ряду своих замечательных современников — Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, А. Ф. Писемского, С. А. Аксакова, Н. С. Лескова, В. И. Даля. Эпопея Печерского «В лесах» и «На горах» написана своеобразным языком. Мало сказать, что язык ее красочен и эмоционален, он народен. Творчество писателя тесно связано с миром родной природы. Символична картина гибели скитов — пожар в лесу.

«— Огонь идет!..»

Вот перерезало дорогу быстро промчавшееся по чапыжнику стадо запыхавшихся лосей... Брызнула из деревьев смола, и со всех сторон полились из них огненные струйки.

Вдруг передняя пара лошадей круто поворотила направо и во весь опор помчалась по прогалинке, извивавшей-

ся середь чапыжника. За передней парой кинулись остальные...

Не прошло трех минут, как лошади из пылающего леса вынесли погибавших в обширное моховое болото...» (В лесах).

Напряжение и страх спасающихся от лесного пожара старообрядцев передаются читателю, сразу попадающему во власть художественного обаяния писателя... Чувствуется запах гари, приносимый ветром, видится небо, будто «пеплом покрыто», «как громадные огненные птицы, стаями понесли горящие лапы, осыпая дождем искр поезд келейниц». Картина богата романтическими эпитетами: палящий огнедышащий ветер; стон падающих деревьев; вой спасающихся от гибели волков, отчаянный рев медведей. Экспрессивность эпитетов придает картине эмоциональную выразительность: несмолкаемый треск; огненный ураган; запыхавшиеся лося; пламенный покров; кровавые волны; пылающий лес; и как контраст — утомленные крылья птиц.

Динамичны выражения: быстрее вихря; закрубился дым; помчались сломя голову; блеснула огненная змейка; брызнула... смола. Повторяются анафористическое местоимение: вот; наречие: вдруг. В этом своеобразии и выразительности языка Печерского.

Символична и другая, художественно выполненная картина эпопеи. Подбирает к своим рукам Алексей Лохматый богатства доверчивой Марьи Гавриловны, добрался он и до ее, бегающих по Волге пароходов. И вот какую мрачную картину дает художник: «Галки расселись по рейнам и по устью дымогарной трубы, а на носу парохода беззаботно уселся белоснежный мартыц с красноперым окунем в клюве. Мерно плещется о бока и колеса пустого парохода легкий прибой волжской волны» (В лесах). Все удается беспечному Алексею, сел он на богатства обманутой жены, как «мартыц с красным окунем в клюве», и автор добавляет: «Не иначе, что у него тогда на кресте было навязано заколдованное ласточкино гнездо».

Вся эпопея Печерского, все ее изменения под влиянием разнообразного содержания насыщены фольклором. Тексты романов наполнены играми, гаданиями, обрядами. Автор любит русскую старину, праздники, связанные с ними легенды, предания, поверия. Праздник весны у

него — это огромное лирическое отступление — пробуждение Ярилы: «Стукнет Гром Гремучий по небу горячим молотом; хлестнет золотой вожжой — и пойдет по земле веселый Яр гулять... Ходит Яр-Хмель по ночам, и те ночи „хмелевыми“ зовутся. Молодежь в те ночи песни играет, хороводы водит, в горелки бегают от вечерней зари до утренней...» (В лесах).

Текст художника в этом лирическом отступлении насыщен внутренними рифмами, аллитерациями: гром гремучий; огни горят горячие; котлы кипят кипучие. Часто автор, как в народных произведениях, ставит эпитет после слова, к которому он относится.

Все богатство словарного запаса подчинено воспроизведению картин. Буйство природы, пышной, могучей, сливается с бытом русского человека, такого же сильного и прекрасного. Песенная и в то же время сказочная интонация жизнеутверждающего праздника любви, природы захватывает читателя, и этому способствует народно-поэтическая основа текста. «Не стучит, не гремит, не копытом говорит, безмолвно, беззвучно по синему небу стрелой каленой несется олень златорогий... Без огня он горит, без крыльев летит, на какую тварь ни взглянет, тварь возрадуется... Тот олень златорогий — око и образ светлого бога Ярилы — красное солнце» (В лесах). В картине, с четким ритмическим рисунком, ощущается огонь, солнце, все сливается в гимне любви и счастья. В певучем языке Печерского читателю приоткрывается душа художника с её глубокой интуицией, богатством подсознательных чувств.

Картина пробуждения земли вызывает восторг и удивление. Это гимн солнцу, земле, человеку. Здесь полное слияние слова, образа, мысли. Печерский, а с ним и читатель заворожены могучей жизнеутверждающей картиной, праздником всепобеждающей любви. Природа ликует, она счастлива, это ее пышная кипучая жизнь, властная и захватывающая.

Бог Ярило полюбил землю: «Ох, ты гой еси, Мать Сыра Земля! полюби меня, бога светлого, за любовь за твою я украшу тебя синими морями, желтыми песками, зеленой муравой, цветами алыми, лазоревыми; народишь от меня милых детушек число несметное...» (В лесах). Картина дана в стиле песенно-былинных сказаний, величавая и торжественная. Авторская речь пересыпана красочными эпитетами: «И от жарких его поцелуев разу-

красилась [земля.— Е. Г.] злаками, цветами, темными лесами, синими морями, голубыми реками, серебристыми озерами». Богатство образных характеристик придает тексту эмоциональность. Умело подбирая слова, Печерский показывает скрытые возможности слова, пластично рисует картину, с колдовской силой передавая переживания русской души. Динамический образ праздника Ярилы — это сложный и многоцветный мир чудес.

Глубокое знание фольклора помогает Печерскому выразительно запечатлеть народный праздник: «Любы были те речи Матери Сырой Земле, жадно пила она живоносные лучи и порождала человека. И когда вышел он из недр земли, ударило его Ярило по голове золотой вожжей, ярой молнией. И от той молнии ум у человека зародился». Печерский преклоняется перед человеческим разумом и его созданиями, поэтизирует их.

Художник погружает читателя в созерцание прекрасного, заставляет услышать неуловимый зов природы с ее скрытой внутренней жизнью: «... бывалые люди говорят, что в лесах тогда деревья с места на место переходят и шумом ветвей меж собою беседы ведут... Сорви в ту ночь огненный цвет папоротника, поймешь язык всякого дерева и всякой травы, понятны станут тебе разговоры зверей и речи домашних животных... Тот „цвет-огонь“ — дар Ярилы... То — „царь-огонь!“» (В лесах).

Печерский проникает в глубины народной фантазии, передает легенды, связанные с природой, объясняет, что «святочные гадания, коляды, хороводы, свадебные песни, плачи воиленниц, заговоры, заклинания, — все это «остатки обрядов стародавних», «обломки верований в веселых старорусских богов» (В лесах). Он не перестает удивляться тому, что видит, наблюдает, и свое удивление передает читателю. «„Вихорево гнездо“... на березе живет, — сказал Пантелей. — Когда вихорь летит да кружит — это ветры небесные меж себя играют... пред лицом Божиим, заигрывают они иной раз и с видимою тварью — с цветами, с травами, с деревьями. Бывает, что, играя с березой, завивают они клубом тонкие верхушки ее... Это и есть „вихорево гнездо“» (В лесах). Для счастья носили его люди на груди.



утешествуя, Печерский собирал материалы устной речи. Большое количество слов и выражений записал он в скитах, среди лесов Керженских и Чернораменских. Когда впервые он выехал из дому в Казань, его захватили услышанные им песни о Степане Разине, о волжских

разбойниках — вольных людях, и «про Суру реку важную — донышко серебряно, круты бережка позолоченные, а на тех бережках вдовы, девушки живут сговорчивые» (На горах). В картине катанья на лодках использована бойкая народная песня:

Здравствуй, светик мой Наташа,
Здравствуй, ягодка моя!
Я принес тебе подарок,
Подарочек золотой,
На белу грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок!
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок,
Ты люби меня, Наташа!
Люби, миленький дружок!

Печерский умело использует лирические и лирико-эпические, исторические песни, былины, сказания, предания, пословицы, поговорки. Он пишет, сливая литературное слово с народным, и достигает совершенства.

В художественных текстах Печерского часты повторы. Вот мчится Самоквасов, чтобы спасти Фленушку от религиозных пут. «Не слышит он ни городского шума, ни свиста пароходов, не видит широко разостлавшихся зеленых лугов. Одно только видит: леса, леса, леса. Там в их глуши, есть Каменный вражек, там бедная, бедная, бедная Фленушка» (На горах). Или: «А за теми за церк-

вами, и за теми деревнями леса, леса, леса. Темным кряжем, далеко они потянулись и с Часовой горы не видать ни конца им, ни краю. Леса, леса, леса». При описании огневой хохотушки Фленушки автор прибегает к отрицательным сравнениям: «Не сдержат табуна диких коней, когда мчится он по широкой степи, не сдержат в чистом поле буйного ветра, не сдержат и ярого потока речей, что ливнем полились с дрожащих распаленных уст Фленушки» (В лесах); «Не стая белых лебедей по синему морю выплывает, не стадо величавых пав по чисту полю выступает: чинно, степенно, пара за парой, идет вереница красавиц» (В лесах).

Использованы отрицательные сравнения и при описании ранней трагической смерти Насти Чапуриной: «Не дождёвая вода в Мать Сыру Землю уходит, не белы-то снега от вешняго солнышка тают, не красное солнышко за облачком теряется, тает-потухает бездольная девица. Вянет майский цвет, тускнет райский свет—краса ненаглядная кончается» (В лесах).

Смерть Насти, дочери тысячника,— одна из самых мастерски написанных картин эпопеи. В контрасте с трагическим событием или в тон ему автор использует картины природы, прибегая к антитезе: «Только и слышно было заунывное пение на земле малиновки да веселая песня жаворонка, парившего в поднебесье».

В стиле народных причитаний идет все описание похорон Насти. «Приносили на погост девушку, укрывали белое лицо гробовой доской, опускали ее в могилу глубокую, отдавали Матери Сырой Земле, засыпали рудо-желтым песком» (В лесах). Печерского прельщает безыскусственность народно-поэтического слова. Ритмически организованная речь способствует впечатлению. Печальная напевность сцены смерти усугубляет трагизм.

Используя прием антитезы, художник удачно передает душевное состояние Дуни Смолокуровой, попавшей в сети хлыстов, ее смятение, тревогу:

«Бешеная скачка, изуверское кружение, прыжки, пляски, топот ногами, дикие вопли и завывания мужчин, исступленный визг женщин, неистовый рев дьякона, бессмысленные крики юрода казались ей необычными, странными и возбуждали сомнения в святости виденного и слышанного» (На горах). И вспомнилось ей красивое катание на косной, чистая песня: «Я принес тебе подарок, подарочек дорогой, с руки перстень золотой...». Молится

Дуня, а в ушах звенит: «На белу грудь цепочку, на шеюшку жемчужок, ты гори, гори, цепочка, разгорайся жемчужок...».

Печерский умело заставляет почувствовать прошлое. Простота и сдержанность художника при изображении ушедших в историю трагических картин помогает запечатлеть все как летописное сказание. Темп пострига Фленушки медленный, мерный, звуки приглушены, краски мрачны. «Клонет ветер деревья, думает она, глядя на рожицу, что росла за часовой. Летят с них красные и поблекшие листья. Такова и моя жизнь, такова и участь моя бесталанная... Пришлось и куколом голову крыть, довелось надевать рясу черную» (На горах), — причитает Фленушка.

Художник свободно находит нужные ему слова, помогающие выразить основное, наизывает их одно к одному, как драгоценные камни, и природа с ее богатыми и разнообразными красками помогает ему.

Сравнения, противопоставления — любимые художественные средства Печерского, и все их он берет из мира природы: «Как клонится на землю подкошенный беспощадной косой пышный цветок, так, бледная, ровно полотно, недвижная, безгласная, склонилась Настя к ногам обезумевшей матери...» (В лесах).

Так же охотно использует автор и вопросительную форму: «Где твои буйные крики, где твои бесстыдные песни, пьяный задор и наглая ругань?.. Тише воды, ниже травы стал Никифор...» (В лесах); «Куда делись горячие вспышки кипучего нрава, куда делась величаявая строгость? Косой подкосило его горе...» (В лесах).

Слог Печерского поэтичен, слова красочны. У него свой народно-речевой строй, свой язык сердца. Он тщательно выбирает и бережет каждое слово, взятое им. Слова у него гибки и заменить их нельзя, не нарушив этой своеобразной певучести и оригинальной первозданности.

Связь народной поэтики с литературной формой — это новое начало в поэтике наших классиков. Печерский бросил в классический чисто литературный язык золотистый сноп ярких народных слов и выражений. Речь Печерского своей первозданностью, свежестью поражает читателя. Автор поставил уже точку, а в ушах еще звучат слова с их ритмом и народной интонацией.

В каждом слове Печерский оттеняет русские национальные особенности. Праздничные песни любви, такие

своеобразные, по словам художника, «могли вылиться только из души русского человека. На его безграничных просторах, раздольных, от моря до моря раскинувшихся равнинах» (В лесах).

Картины Печерского из жизни народа легки и подвижны. Содержание произведения сочетается с формой сказочного повествования. Все образные детали сливаются с целым. Лирические отступления, которыми насыщена эпопея, — примеры поэтического искусства художника, его образно-величавой формы, выполненной в народном стиле. Это классическая, изнутри, от содержания идущая форма.

В гармоническом сочетании богатства народной речи с красотой литературного слова — секрет художественности Печерского. Народные слова он часто употребляет не только в диалогах действующих лиц, но и в описаниях, в речи автора: ярманка, громчей, молонья, зачали, сказывают, разговоры покончились, крылос, нестыдение, борщевое ботвинье, песни играть; часто в тексте автора встречаются целые народные фразы: «Солнце с полден своротило, когда запылилась дорожка, ведущая в Свиблову»; «Ложе — трава мурава, одеяло — темная ночь, браный полог — звездное небо».

Огромна работа Печерского в области русского языка, большое количество народных слов, выражений и оборотов в местных говорах, идиом, этнографических, географических названий введено им в художественную литературу. Печерский помогал В. И. Далю в составлении «Толкового словаря живого великорусского языка», в собирании слов и выражений. Н. С. Лесков в изучении богатства русского языка считал себя учеником Печерского. В безграничной любви Печерского к слову, в пафосе его художественных произведений сказалась его любовь к русскому человеку, к родине.

Е. ГИБЕТ

В ОЧЕРЕТИ НЕ МОДА, А ДЕЛО ЖИЗНИ

Полемические заметки

Не раз доводилось присоединять свой голос к тем, кто ратует за использование богатств родного языка. И повседневные раздумья, а, главное, впечатления от того, с чем сталкиваешься в работе и в жизни, заставляют пока вновь и вновь возвращаться к этой теме.

Диву даешься — до чего мы подчас доходим.

На городском литературном вечере в Оренбурге выступает кандидат филологических наук и бранит писателя:

— Язык вам надо почистить. Вы дважды употребляете слово *шибко*. И не только в прямой речи, но и в авторской. А это же китайское слово!..

Думаете, в зале смеялись? Не все. Старые оренбуржцы помнят китайских рабочих (в давние времена они бывали на Урале) и бытовавшее среди них словосочетание *шибко шанго* (шан-го — ‘хорошо’). Оно и у Фадеева есть в романе «Последний из удэге». Но почему же *шибко* — китайское? Заглянем в 17-й том «Словаря современного русского литературного языка». К этому слову приводятся примеры из Пушкина, Аксакова, Короленко, Паустовского, Леонова. Есть и ссылка на Российский целлариус 1771 года. Неужто пришло из китайского? До того времени? А глагол *шибать*? А *зашибать*?

Смех смехом, но филолог-то не какой-нибудь отсталый. Печатается, даже стихи пишет. Должен он знать больше других?

Можно бы этот пример отнести к разряду нехарактерных. Не знал человек такого слова, читал мало. Но беда в том, что он не одинок. Зам. главного редактора одного литературного журнала, тоже филолог, на многочленном собрании, отнеся *шибко* к блатному жаргону, упрекает литератора за глагол *мигусить* — нет, якобы, такого. Да,

В. Даль, приводя разное написание этого глагола — *матусить*, *метусить*, *мотусить*, при *митусить* делает пометку: архаично. Но ныне, под влиянием украинского, слово давно ожило.

Ну не слыхивал ни одного из вариантов, — помалкивал бы. Нет, ему надо «бороться за чистоту языка». Это модно.

Мировоззрение, соответствующее нашему веку, не помешало бы таким борцам. Ведь случаются и подобные разговоры:

— Просторечья, дорогой, употребляете! — журит иной редактор-филолог. — Не к лицу. Вы же университет окончили, а пишете: «кровь пробрызнула», «на пригревушку» ... Интеллигентный человек!..

— Но у Некрасова эти слова — тоже...

— Некрасов злоупотреблял просторечиями. Его современники это отмечали...

И пожимаешь плечами. Неужели после Некрасова, после трех революций в России, после наших пятилеток — с демократизацией всего уклада жизни — язык не демократизировался? Или нашему обществу должен быть присущ лишь канцелярский, деловой, бюрократический словарь?

Думаю, филолог с таким отношением к развитию языка не может споспешествовать сохранению и обогащению главной сокровищницы национальной культуры. И что можно ждать от его воспитанников, например от молоденькой девчонки, которая окончила в административном центре десятилетку и филфак, дальше пригородных дач не бывала по России, а сейчас пристроена редактором художественной литературы в книжном издательстве?

Право же, иной раз не позабавишься, а, слушая претензии по языку некоторых наших литературных редакторов и рецензентов, взбесишься от их подхода к делу. Новообразований с двойными и тройными приставками многие не приемлют: «попереукрасили все улицы»; «поназакладывался за отпуск». Уменьшительные суффиксы, говорят, для печатной речи тоже неестественны: «бесплатненько мне это сделали»; «хорошуточка ты моя»; «какая-то вдовуленька к нему присваталась — совсем еще ребенок». Тавтология недопустима: «синим-сине»; «туп-тупешенек», тем более — с приставками: «утро-разутро»; «болтовня-разболтовня»; «уж такой филолог-расфилолог».

Все эти примеры — из записей последних трех лет, сделанных в заводских коллективах, работающих по производству фторопласта, диодов, триодов, лавсана и прочих

современных материальных ценностей. И все сие — лишь самое элементарное из принципов русского словообразования, которые известны и по трудам, посвященным грамматическим нормам, фольклору, анализу творчества любого писателя, работавшего в ключе народной речи.

Ведь брезгуя глагольными приставками, мы часто теряем оттенки действия; *убавил, поубавил, понаубавил* — разве не разное? Или *скрычить, перекрычить, даже вскрычить* 'поднять крюком'. Считая уменьшительные суффиксы только буквально уменьшительными, забываем, что они могут придавать слову и уничижительный, и иронический, и ласковый, и другие привкусы, — все зависит от самого слова и контекста. *Бюрократик, бюрократишка* — одинаково? Или: «сидит этакая бюрократулька с бантиками». Очень многое мы теряем — краски, интонацию, живость. Отношение к предмету, в конце концов!

Нередко, когда сталкиваешься с каким-нибудь пуристом — охранителем русского литературного языка от жаргонизмов, просторечий, диалектизмов, на деле видишь, что он просто неуч. Добролюбова о народной речи не читал; Лескова не знает; Ивана Горбунова не слыхивал. Я уж не говорю, что книг по проблематике и историографии фольклористики, которых у нас немало, он и не видывал. И горьковский завет «Начало искусства слова — в фольклоре» припишет славянофилам.

Хорошо, что народ наш разговаривает, не считаясь с потугами иных обитателей учреждений, где язык литератора шлифуют, чистят, причесывают, одним словом, — блюдут! Разговаривает ярко, сочно, с такими нюансами мысли, чувства, выразительности, что наша так называемая отредактированная речь действительно отличается от живой, как столб от сосны. Русский человек вообще любит не только само слово, чтоб оно было свежим и запашистым, пылким и смачным, своеобразным, но любит и поиграть им — поперевернуть, попереиначить и понаслаждаться, извлекая из него все новые и новые смысловые возможности. Законы нашего языка позволяют делать это широко, свободно, во множестве случаев и непереводимо на иностранный.

К сожалению, сейчас печатается немало опусов, где нарочито употребляются специально откопанные редкие словечки — без точного знания их значения. Один писатель утверждает, что на металлургических заводах до Отечественной войны была профессия — *пузодавы*, а значение

то этого словечка таково, что к промышленности оно никакого отношения не имеет. Другой восторгается услышанным словом *ветень* и пишет: «Ветень машет последними листьями...». А ветень-то — снасть рыболовная (иначе — вентель, вентер, ветыль, витиль, вятерь, — в каком краю как) да кое-где — для ловли куропаток.

Сам грешен, люблю помудроплетничать со словечком. Однако убежден, что ежели мы станем обогащать нашу литературную речь только по временной прихоти, то многого не достигнем. Верхоглядство, неведение да голое желание выказаться никогда не пособляли никакому делу. И «языкова мода», как и всякая иная мода, не может быть движителем развития, ибо преходяща и доводит до шутовства, народу на посмешище.

Особенно медленно проникают в литературную речь слова рабочего обихода. Кто сейчас не ратует за произведения о заводской жизни! О рабочем классе! — выражаясь высокопарно. А общепринятое на всех производствах досужие редакторы вымарывают нещадно. Совсем недавно отстаивал перед работниками одного столичного издания употребленные в заметке существительные *задел*, *доводка*. Подобных слов великое множество, заводчане пользуются ими не только в буквальном смысле, но и в переносном. Большинство их не попадает в литературные словари. Почему? Слова же все русские, за небольшим исключением.

Почему *разгонка* ‘расплющивание’, *разбивка* (например — сооружения), *отбойка* ‘отделение’, *наддув*, *вывал*, *стропальить*, *гладилка*, *шлицевать*, *утяжка*, *киянка*, равно как и сотни других общеупотребительных слов у населения, связанного с индустрией (уже половина страны!), не должны входить в нашу литературную речь? Ведь когда-то терминология сельскохозяйственного производства тоже была только терминологией, но сейчас мы говорим и пишем: «сеять страх»; «взборонил ковер»; «смолотил два обеда» (лучше бы — «умолотил») и прочее. Однако «пришлифовались друг к дружке», «празднуем с бывшим соседом отбойку — получили по квартире» и тому подобные выражения нас пока шокируют.

— Ужасный язык! Некультурный!.. Если это печатать, Иван Сергеевич в гробу перевернется, — говорила как-то чрезвычайно образованная дама, редактор художественной литературы, по поводу вышеприведенных оборотов. И невдомек ей, что не один десяток слов из лексикона «некуль-

турных» орловских крестьян был впервые употреблен в изящной словесности именно Тургеневым.

На каком основании рабочая лексика лишается нами ее законных прав? Долго еще на полях рукописей чиновники-писары будут ставить против таких слов всякие знаки неприязни? Может быть, все происходит оттого, что у них просто нереальное представление о рабочем? Может быть, пришла пора нашим филологам организовать экспедицию на какой-нибудь завод, где работает 50—60 тысяч, да создать словарь современного народного говора какого-то индустриального коллектива? (Подобно чудесному изданию под редакцией И. А. Оссовецкого — Словарь д. Деулино Рязанской области.)

Самое грустное — и в том вся штука, что аргументируют литературные товарищи свое неприятие всякой свежинки в языке большей частью одними восклицаниями: «Так не говорят!», «Такого я не знаю! Такого не слышал!», «Такого слова нет, это ваше изобретение!», «Это — провинциализмы!...». Один деятель мне доказывал, что Уралмаш, Магнитка, Академгородок, Атомка, Капронка, Электронка... «Где работаешь? — На Электронке» — это все «дремучая периферия, провинциализмы, которые нельзя пускать в литературную речь». Почему же все, что выходит за рамки умов конторы (пусть литературной, столичной), — провинция, периферия!.. Ну, да ладно! Это уже — не про язык...

Мне кажется, было бы интересно, если бы наши ученые рассмотрели подробно, изучили глубоко, сделали выводы — как в теперешнее время происходит взаимовлияние говоров, наречий, языков. Разве не интересно было бы поосновательней исследовать следы Отечественной войны в живом языке, в литературном. Это для примера. По фольклору Отечественной войны есть же хорошие книги. Почему бы не углубиться и в семантику народной речи, опаленной войной?

Павел Бажов, который пытался создать в своих сказах «чисто уральский, работный язык» (точнее — говор) и преуспел в этом, как-то признался (мне приходилось готовить с ним к первой публикации в газете несколько его последних сказов):

— За пятилетки, да за войну по нашему Уралу прокатились такие мощные волны народной речи с юга, с запа-

да, что мне написать сказ о нынешнем дне, наверное, невозможно...

Действительно, в русской речи на Урале, кроме традиционных тюркизмов и полонизмов (от ссыльных в 1794, 1831, 1864 годах), за время наших пятилеток, что привлекли на стройки массу населения со всех концов страны, появились в изобилии украинизмы, белорусские, донские, одесские и всякие иные слова и словечки. «Великое переселение промышленности» в войну с запада на восток сыграло такую же роль. А сами уральцы (потомки выходцев из многих районов России) длительное время были на разных фронтах, партизанили в разных краях; и после Победы понавезено в пополнение словарного запаса столько необычного! Подхваченное молодежью; оно вошло в речь, передалось уже третьему поколению. Почисти-ка теперь!.. «Шнель-шнель!» — со смехом кричит мальчишка в колонне детского сада, переходящей улицу. От веселого деда, видать, перенято.

Это крайний пример. А «средним» — несть числа. Вы можете услышать в уральских промышленных городках: «Меня бригада в котел загнала» (проработала — не разишь), или «Билетов на вечер нам не досталось, но мы просочились» (их отцы-автоматчики на фронте просачивались). Услышите не только *бульбу* и *бараболу*, *горилку* и *шнапс*, *натринкался*, *апцуги* и *колоколушу* или *шпекачки*, но и совершенно невообразимое с точки зрения литературного языка.

Молодой инженер с украинской фамилией, на -*ко*, может сказать: «Нам, татарам, впистко едно». Откуда это? Я знаю эту поговорку с фронтовых времен. Где-то в районе Львова, когда туда с боями пришел Уральский добровольческий танковый корпус, местные жители спрашивали: «Уральцы? Це — татары?..». Наши ребята, легко относясь к своему этническому происхождению (у нас, например, в Свердловской областной партийной организации коммунисты 67 национальностей, интернационализм у населения — в крови), со смехом подхватывали: «Да, да, мы — татары». Дескать, называйте, как хотите, нам все равно. А польское «впистко едно» (все равно), услышанное там, многим было известно и на Урале. Вот и появилась лукавая поговорка: «Нам, татарам, впистко едно: что воевать, что спать, а лучше всего, идти вперед...». Усеченная, она встречается до сих пор, живет.

Разумеется, никто не собирается все это тащить в литературный язык без разбору. Не всякое лыко в строку, не всякая гайка на каждый болт. Но наши блюстители, по незнанию, все эти явления (происходящие, конечно, не только на Урале) не учитывают и частенько борются за чистоту языка, зажмурив очи.

Помню, меня высек печатно один филологический авторитет: «Роман об Урале, о заводской жизни, а сталевар, простой рабочий, говорит своему товарищу: — Ты чего самостийничаешь?.. Да будет автору известно, что *самостийный* — слово украинское, это политический термин, появившийся у националистов...». И так далее — длиннющий реприманд со ссылкой на Словарь Ушакова.

А к чему было огород городить? Во-первых, сталевар, по роману, воевал на Украине в Отечественную и мог это словечко перенять оттуда. Во-вторых, на многих уральских заводах украинцев по происхождению до четверти коллектива, и герой мог позаимствовать словечко у товарищей. В-третьих, сталевар — человек читающий, а еще у Фурманова в «Мятеже» Шавров изгоняет в своих полках «самостийный хулиганский дух». Правда, у В. Даля такого слова нет, да и не могло быть. Но у Ушакова уже есть, со ссылкой — украинизм. Разве не просматривается уменьшение обособленности двух языков?

Останавливаюсь на этом подробно не потому, что несправедливо бит и не мог ответить авторитету печатно (не привожу фамилий вообще, так как пытаюсь говорить о явлениях). За всеми подобными гримасами нашей речелогии вижу два противоборствующих процесса. Один — стремление народа изъясняться богато, широко используя и печатное слово, и фольклор, и пришлое из других языков. Другой — стремление стоящих на страже чистоты языка пропустить любое дерево живой речи, в особенности литературной, через стационарный сучкорез и механический сучкоруб. Такие машины обычно гордость лесхоза, а лесозаготовители не учитывают признаков древесины — цвет, текстуру, блеск, запах, если им нужны только бревна. Об особенностях думает художник-древорез, работающий тонкими ручными инструментами.

В службах нашей литературы (пресса, филологи, радио, учителя и т. д.) сучкорезов и сучкорубов даже по количеству больше, нежели резчиков с цезариками, гейсмусами, клюкарзами, долотами и долотцами. Да их, резчиков, еще и одергивают, хватают за руку, по неразумению,

шпыняют постоянно и безапелляционно. К чему это ведет? К обеднению и ослаблению великой и могучей русской речи. Потолкуйте с любым речистым человеком на заводе, на руднике, на фабрике, вы будете потрясены и его словарем, и его умением так выразить свою мысль, так построить фразу, так поворотить глагол, существительное, что получается иной раз воистину художественно. А возьмется этот же человек написать заметку в многотиражку или высказаться с трибуны на собрании, скулы воротит от скучищи серых фраз, канцелярских штампов, набора стертых, бесцветных, протокольных слов.

— Что с вами? — спросишь. — Вы же только что говорили другим языком. К чему такая подмена?

И он ответит:

— Так то ж мы беседовали промеж собой. А тут я выступаю официально... Ты вот пробуешь заводскую живинку в языке протаскивать в печать — тебя колотят. У меня ж и по производству забот хватает.

«Заводская живинка в языке»!.. Для него это живинка его многотысячного коллектива. Я расширил бы понятие: народная живинка. Это ветви, сучья, листья вечнозеленого древа живого языка. Его сокровища нам, русским писателям, хорошо ведомы, нам, даже самым молодым из нас, не надо начинать с нуля. Пожалуй, ни в одну литературу мира не вложено столько трудов стольких ревнителей живокопящей народной речи, как в нашу отечественную литературу. Ни на одном языке, как на русском, нет стольких книг, что могут быть руководством к продолжению такого труда. Ни у одного народа нет стольких исследователей живого слова, стольких писателей, работавших во имя роста и цветения главного достояния нашей национальной культуры — языка.

Модой тут ничего не возьмешь. Ни модой на замшелые, ушедшие в прошлое слова. Ни модой на «борьбу за чистоту», что часто оборачивается скудословием, скудоцветием, а, следовательно, и скудомыслием. Взять можно только наукой, знаниями, прилежным изучением. Да не одним застольным изучением, которое, конечно же, нам необходимо перво-наперво (ввиду несметного обилия сотворенного до нас. Чтоб не открывать давно открытого!). Но и тесным общением с носителями живого языка, собирая по зернышку, по крупичке, как делали наши учителя — великие русские писатели. Для литератора это и по доброй традиции должно быть делом жизни.

НОРМЫ УДАРЕНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ

Сложность и прихотливость русского ударения широко известны. Пожалуй, ни одна другая область русского языка не вызывает сейчас столько ожесточенных споров, недоумений и колебаний. Многие сетуют на то, что современные поэты расшатывают общенациональную норму, допуская в стихах, иногда даже в одной и той же строфе, акцентологические дублеты:

Мы с утра занимаем окоп,
Кочку каждую оберегая...
Я далёко, и ты далёко...
Что ты скажешь, моя дорогая?

Светлов. Двадцать восемь

Возможно ли устранить вариантность в системе русского ударения? Чем вызвана эта в принципе нежелательная особенность языка? В каком отношении к литературной норме находится современная поэзия? Какова роль поэтов в национальной языковой политике, в борьбе за культуру русской речи? Эти вопросы волнуют сейчас широкие круги общественности.

Хотя еще в IV веке известный филолог Диомед назвал ударение «душою речи», на законы ударения долгое время смотрели как на малосущественный объект науки о языке. Неслучайно поэтому академик Я. К. Грот в 1876 году замечал: «Известно, что одну из наименее обработанных частей теории русского языка составляют правила ударения». За последние десятилетия многое изменилось. Проблемы русского ударения привлекли пристальное внимание выдающихся языковедов — Л. В. Щербы, Л. А. Булаховского, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, Р. И. Аванесова и др. Немало сделано для его нормализации. Опреде-

лены некоторые важные тенденции изменения русской акцентологической системы. Многие «капризы» и «зигзаги» в развитии ударения получили научное истолкование.

Для науки теперь уже очевидно, что вариантность формы при идентичном содержании (общности обозначаемого) — это не случайный, непрошенный гость, а неперемный спутник языкового развития. Вариантность пронизывает весь сложный механизм живого языка. Особенно широко она представлена в акцентологии, в области устной речи, не столь подготовленной и сознательно организованной, как письменная. Нормы устной речи более подвижны, проницаемы. Варьирование ударения, впрочем, иногда носит такой характер, когда варианты не имеют стилистических или иных различий. При этом они становятся дублетами — избыточными для языка и нежелательными для общественно-речевой практики: мышлѣние — мѣшление, сажень — сажѣнь, тотчас — тотчѣс, пригоршня — прѣгоршня и т. п. К сожалению, лингвисты мало чем могут здесь помочь обществу; иное дело, когда варианты различаются между собой по какому-либо признаку, отмечаемому словарями.

Предпосылки (источники) вариантности заложены в самой природе объекта. Первая и главная из них — это непрерывная языковая эволюция. В языке не бывает так, чтобы сегодняшняя норма завтра стала анахронизмом. Изменения в языке протекают обычно медленно, незаметно и поэтому неизбежно предполагают более или менее длительную стадию сосуществования старого и нового качества. Так, доживает свой век ударение *засу́ха* (имеется в виду литературный язык, а не говоры). У современных поэтов оно встречается редко:

До отдаленного, чуткого слуха
Вдруг долетела людская молва,
Будто под Курском все лето засу́ха,
Жухнут хлеба и желтеет трава.

Б о к о в. Тихая туча

Но сравнительно недавно (Словарь русского языка 1903) оно признавалось равноценным вариантом по отношению к новому ударению *засу́ха*. Ударение *засу́ха* еще было свойственно для поэзии первых десятилетий XX века (Есенин, Маяковский, Садофьев). Раньше, в XVIII—первой половине XIX века, устарелое для нас ударение *засу́ха* и было нормой. Об этом свидетельствуют словари того времени, с таким ударением употребляли это слово

Пушкин: «...как поля, мы страждем от засухи», Крылов, Огарев, Некрасов и др.

Вариантность ударения обусловлена многими причинами. В начале XIX века наблюдавшееся варьирование ударения (Крылов и др.) часто являлось результатом столкновения книжной славянской традиции и устной народной стихии. Значительное влияние на изменение ударения, а следовательно, и появление вариантов, оказали местные диалекты. Воздействие южных говоров, например, сказалось на переносе ударения с последнего слога на корень у двуслоговых глаголов на *-ить* в формах настоящего-будущего времени. В первой половине XIX века произносили обычно: *варíшь, кури́шь, дари́шь*; к концу столетия, согласно словарям, нормативны стали оба варианта ударения: *варíшь* и *ва́ришь*, *кури́шь* и *ку́ришь*, *дари́шь* и *да́ришь*; в наше время большинство глаголов на *-ить* уже окончательно «распрощалось» с ударением на окончании.

Появление вариантности в заимствованных словах нередко определяется особенностями ударения в языке-источнике или языке-посреднике. В Словаре Д. Н. Ушакова равноправными признаются акцентологические варианты *револьве́р* и *рево́львер* (в более поздних словарях норма только *рево́львер*). Вариантность ударения возникла здесь вследствие того, что это слово возводили к разным языкам-источникам — французскому или английскому. Отсюда и колебания в поэзии: *револьве́р* (Савельев. Комиссары) и *рево́львер* (Симонов. Старик).

Есть и другие причины появления варьирования в системе русского ударения. Здесь нет надобности перечислять их. Гораздо важнее подчеркнуть допустимость некоторых акцентологических вариантов в пределах нормы литературного языка. При нормативной оценке существующих колебаний следует исходить не из пуризма, не от личного отношения к факту (нравится, не нравится, не звучит, режет ухо и т. п.), а из знания закономерностей развития русского ударения и наблюдений над современным словоупотреблением, в том числе и над ударениями в современной поэзии.

Но отражает ли поэзия общезыковые нормы ударения? Можно ли на основании стихотворных текстов делать выводы об изменении или колебании норм литературного языка?

В принципе на эти вопросы следует ответить положительно. Язык поэзии не располагает, как считают некото-

рые, своими особыми, глубоко отличными от национального языка «художественными» нормами. При всем своеобразии поэтического творчества (эмоциональность, субъективное отношение к явлениям жизни, индивидуализированный язык персонажей, подчеркнутая мотивированность в выборе формы и т. п.) закономерности языка определяют закономерности стиха.

Видные лингвисты и литературоведы (В. И. Чернышев, Л. А. Булаховский, Б. В. Томашевский, Л. И. Тимофеев и др.) неоднократно отмечали несостоятельность противоположения стихотворных норм общенациональному языку. «Ни один культурный поэт, — писал Л. А. Булаховский, — никогда себе не позволял и не позволяет колебаний больших, чем те, которые реально существуют в литературном употреблении его времени». Специалисты в области поэтики открыто заявляют о том, «что нельзя заниматься версификацией в отрыве от лингвистики» (И. Н. Голенищев-Кутузов), что «ритм стиха строится на природе самого языкового материала» (Б. В. Томашевский), что системы стихосложения «существуют в пределах общих звуковых норм русского языка, подчиняются его общим законам» (Л. И. Тимофеев).

Таким образом, стихотворные тексты (если, конечно, проводить широкие, массовые обследования, а не полагаться на отдельные случайные примеры) могут в известной степени служить показателем сдвига нормы, материалом для суждений о развитии русского ударения. Например, большинство словарей XIX—XX веков признает единственно нормативным лишь ударение *пéгля*. Встречающийся в живой обиходной речи вариант *петля́* квалифицируется в некоторых словарях и справочниках по культуре речи как областное или даже вовсе нелитературное, ошибочное ударение. Наблюдения над языком современной поэзии заставляют усомниться в столь жестких ограничениях. Ударение *петля́* зарегистрировано у С. Маршака, М. Исаковского, М. Алигер, Е. Долматовского, М. Светлова, А. Суркова, О. Берггольц, С. Кирсанова, П. Кустова и других видных советских поэтов. Причем ударение на конце слова (*петля́*, а не *пéгля*) не обусловлено в их стихах каким-либо идейно-художественным замыслом, а связано, может быть, лишь с рифмой и ритмом:

На шею — острая петля́.

Рванулась из-под ног земля.

Долматовский И. Баллада об артистке ТРАМа

Волком был отец от этой жизни,
Влезть в петлю не раз бедняк хотел.
Кустов. Восемь девок

Все туже смертная петля
На горле города-героя!

Берггольц. Ленинградская поэма

Видимо, в наше время оба варианта (пéтля и петля) допустимы в пределах нормы общелитературного языка. Так, кстати, их и характеризует 17-томный академический Словарь, основывающийся в своих рекомендациях на материалах обширной словарной картотеки Института русского языка.

Как правильно: зайндевелый или заиндевёлый? Все словари в качестве единственной нормы показывают ударение *зайндевелый*. Однако современные поэты (А. Твардовский, А. Решетов, Г. Регистан, Д. Кедрин, И. Жданов, Н. Васильев, В. Федоров, П. Кустов, А. Кушнер, В. Журавлев и др.) явно предпочитают иное ударение — *заиндевёлый*

На окнах, сплошь заиндевёлых,
Февральский выписал мороз
Силетенье трав молочно-белых
И серебристо-сонных роз.

Кедрин. Мороз на стеклах

Рванули дверь — пружина зазвенела,
Холодный ветер низом потянул —
Весь красноносый, весь заиндевёлый,
В столовую ввалился караул.

Жданов. Мне нравится
солдатская столовая

Вероятно, и в этом случае мы имеем дело с появлением нового, допустимого в пределах нормы варианта ударения.

Хотя в словарях современного русского языка в качестве нормативного обычно дается вариант ударения *ржа́вель* (вариант *ржавéль* снабжается пометами «областное», «просторечное»), словоупотребление поэтов (А. Сурков, Н. Грибачев, В. Кузнецов, М. Алигер и др.) и наблюдения над живой речью не подтверждают такой характеристики.

Материал современной поэзии представляет собой благодатную почву для изучения колебаний и вариантности русского ударения. Упомянувшееся в начале статьи ударение *далеко́* представлено в стихах М. Исаковского, В. Саянова, Б. Слуцкого, С. Острового, В. Шефнера, Е. Евтушенко, П. Кустова, Н. Сидоренко, В. Бокова. Но не

менее употребителен и вариант *далёко*: М. Исаковский, К. Симонов, О. Берггольц, Н. Тихонов, В. Лебедев-Кумач, А. Прокофьев, В. Солоухин, В. Боков, С. Островой. Акцентологическое варьирование может продолжаться иногда значительное время. Еще у Пушкина мы встречаем — *родился и родился*:

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы...
Евгений Онегин

Кто родился мужчиною тому
Рядиться в юбку странно и напрасно...
Домик в Коломне

Прошло более столетия, но норма так и не сделала своего окончательного выбора: родился (А. Прокофьев, В. Саянов, О. Берггольц, Э. Асадов, Г. Регистан, А. Сурков, В. Солоухин, А. Кушнер, Н. Заболоцкий, В. Радкевич, В. Карпенко, М. Максимов) и родился (О. Берггольц, А. Гатов, Б. Корнилов, И. Френкель, М. Максимов, В. Радкевич, В. Карпенко, И. Рядченко).

Таким образом, рассмотрение варьирования ударения в современной поэзии в сопоставлении с фактами прошлого является существенным звеном нормализаторской работы. Могут возразить: ведь, во-первых, ударение в поэзии иногда вызвано размером стихотворной строки, ритмом стиха (недаром же говорят о поэтической вольности), во-вторых, оно может быть мотивировано идейно-художественным замыслом произведения или иными внешними обстоятельствами.

Это все верно, но не меняет положения дела. Когда мы слышим в арии Томского в «Пиковой даме» необычное ударение *девóчкам*, то не следует упускать из виду, что здесь вовсе не поэтическая вольность. В либретто оперы включено стихотворение Г. Р. Державина «Шуточное желание», который, как известно, унаследовал некоторые черты северных говоров, где до сих пор встречается это не свойственное литературному языку ударение.

В современной поэзии, действительно, много примеров отступлений от языковой нормы. Если такие отклонения мотивированы замыслом произведения, способствуют социальной или иной характеристике персонажа, передают колорит эпохи и т. п., они лишь усиливают художественное воздействие поэзии. В свое время академик Л. В. Щерба справедливо отметил: «Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть

обоснованных [разрядка моя.— К. Г.] отступлений от нее...». Известно, например, что в XVIII—начале XIX века слово *музыка* произносилось с ударением на втором слого — *музы́ка*. Вспомним у Пушкина: «...Музы́ки грохот, свеч блистанье»; «...Из наслаждений жизни Одной любви Музы́ка уступает». Сейчас это ударение безнадежно устарело. Однако применение его в исторической поэме К. Симонова «Суворов» вполне закономерно:

На неприступный Измаил
Ведя полки под вражьи клики,
Он барабанный бой ценил
Превыше всяческой музы́ки.

Ударение *инстру́мент* противоречит норме литературного языка; правильно: инструме́нт. Но бывают случаи, когда применение его стилистически мотивировано, уместно, например в прямой речи бойца (Твардовский. Василий Теркин) или бетонщицы (Евтушенко. Братская ГЭС):

С той поры тот москвич поразумнел:
и наряды он мне отмечал,
и выписывал новый инстру́мент,
а как будто не замечал.

К сожалению, в современной поэзии далеко не все так благополучно. Многие поэты (среди них есть даже опытные, одаренные) допускают не мотивированные контекстом отступления от общелитературной нормы. Некоторые из таких речевых ошибок, вариантов ударения, лежащих за порогом нормы,— диалектного происхождения. Слово *корысть* имеет ударение на последнем слого — *ко́рысть*. Так указано во всех словарях и справочниках, начиная с Лексикона трехязычного Ф. Поликарпова (1704). С таким ударением употребляли это слово поэты-классики: «...В корыте много ли ко́рысти?» (Пушкин), так пишут поэты-современники: «На то иду, на том стою, В том вся моя ко́рысть. Сломаю штык, приклад собью, — Зубами буду грызть!» (Исаковский). И все-таки нет-нет и встречается:

Летят, нагнетая скорость,
К нему катеров кометы.
Людьми здесь не правит ко́рысть —
Здесь правят людьми советы.

Кондырев. Дорога уходит в море

У поэта А. Гатова мы находим *багряне́ц* вместо *багрянец*, у С. Острового — устарелое ударение *о́кн* вместо *окон*, у П. Когана — *али́би* вместо *алиби*, у Л. Хаустова — *на́долго* вместо *надолго* и т. п. Обидно, когда в хороших

стихах наталкиваешься на такие «перлы»: непóчатый, рассéченный, провéденный и т. п. Диктору радио или телевидения, произнесшему *переоцёнен* вместо *переоценён*, грозит взыскание. Поэту же (хранителю языка!) все сходит с рук. Вот, например:

Трепет детских сказок уценён.
Зыбкий курс судьбы переоценён...
Сколько полустершихся имен
Добрело до выдуманных целей?

Поликарпов. Солнцек, как уголь
раскален

Для создания полноценного, яркого художественного образа поэтом могут быть мобилизованы любые средства языка, в том числе даже самые смелые отступления от литературной нормы. Но не мотивированные замыслом речевые ошибки, словесное трюкачество, грубая подгонка ударения под размер строки непростительны для поэтов, «мастеров культуры».

Итак, вариантность норм ударения — естественное свойство живого, развивающегося языка. Языковед, если он не хочет оказаться в плену устарелых представлений или идти «впереди прогресса», должен в наше время найти разумное решение этой наболевшей проблемы, привлекая в качестве материала для наблюдений и язык современной поэзии.

К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

ЧАЙНВОРД «НОВЫЕ СЛОВА И ЗНАЧЕНИЯ»

(Ответы. См. № 2, 1972)

- | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. Юниор. | 2. Ракетносец. | 16. Елочка. |
| 3. Цветомузыка. | 4. Абстракционизм. | 17. Апартеид. |
| 5. Магнитола. | 6. Акваланг. | 18. Дзюдо. |
| 7. Геронтология. | 8. Ядерщик. | 19. Оперативник. |
| 9. Космодром. | 10. Микроавтобус. | 20. Киновед. |
| 11. Самоотдача. | 12. Авиапассажир. | 21. Демограф. |
| 13. Радиорассказ. | 14. Загубник. | 22. Фотожурналист. |
| | | 23. Тетрациклин. |
| | | 24. НеокOLONИализм. |
| | | 25. Микроэлектроника. |
-



Некоторые исследователи (см.: «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка». Под редакцией М. В. Панова. М., 1968), утверждая, что «в языке существует качественно своеобразная борьба противоположностей, которая и определяет его саморазвитие», считают, что наряду с другими противоположностями существует противоположность кода и текста. То есть «если говорящий и слушатель понимают друг друга, то это означает, что у них в памяти существует общий код (набор знаков) и они по общим для них законам сочетают их, создавая текст. Между кодом и текстом существует определенная связь: стоит нам укоротить код (выбросить из него некоторые знаки), как, при прочих равных данных, необходимо будет удлинить текст... Стремление упростить, то есть укоротить, код и стремление укоротить, то есть упростить, текст антагонистичны... Эта противоположность кода и текста часто проявляется так, что несходство интессов говорящего и слушателя не обнаруживается». Итак, здесь отмечается только одно соотношение: код и текст. Однако это не совсем так. В предлагаемой статье рассматривается вопрос о тексте и речи.

Многим из нас приходилось сталкиваться с тем, что человек, считающийся хорошим рассказчиком, не в состоянии выразительно прочитать вслух художественный текст. Почти каждый из нас наблюдал и такой случай, когда человек, собиравшийся сказать на собрании о многом хорошо и просто, оказывается под таким сильным влиянием словесных штампов, что не может произнести ничего, кроме общеизвестных истин.

Почему это происходит? В том и другом случае человек не мог преодолеть какого-то очень существенного различия между речью и текстом. То, что такое различие существует, интуитивно хорошо чувствует каждый. Приведем два случая, когда произносится, казалось бы, одно и то же предложение.

Первая ситуация. Вечер. Два человека на берегу реки. Один (задумчиво): Солнце садится. Второй: Да, уже вечер.

Вторая ситуация. Учитель диктует ученикам предложение для разбора: Солнце садится. Записали? Найдите подлежащее.

Два предложения «Солнце садится» совершенно одинаковы синтаксически, морфологически и фонетически, но, будучи произнесенными вслух, оказываются различными. Первое предложение — отрезок речи, второе — текста. Внешним признаком того, что эти предложения различны, являются интонационные особенности каждого из них.

Чем же текст отличается от естественной речи?

Речевое сообщение имеет своей целью передать определенную мысль собеседнику и протекает в условиях непосредственной обратной связи между говорящим и слушающим; возникающая в процессе речи смысловая неопределенность разрешается своевременно: слушающий может в любой момент остановить говорящего вопросом, уточнить что-либо. Уточнению смысла сообщения помогают и такие внешние факторы, как мимика, жесты, сопутствующие речи говорящего.

Как правило, слушающий обращает основное внимание на содержание чужой речи. Однако он незаметно для себя занимается и анализом формальных признаков: замечает особенности произношения говорящего, построения им предложения и т. п.

Языковые коллективы вообще бдительно оберегают грамматическую и произносительную норму. Но особенно остро встает вопрос о норме в связи с появлением и развитием различного рода массовых коммуникаций (газет, журналов, радио, телевидения), в тех случаях, когда непосредственная обратная связь между говорящим и слушающим исключается. Простейшие виды массовой коммуникации (ораторская речь) существовали очень давно. В условиях общения со множеством слушателей речь должна быть максимально членораздельной и правильной, чтобы ее понимали, не прерывая говорящего. Именно массовые коммуникации вызвали развитие полного стиля устной речи, который характеризуется повышенной членораздельностью.

Развитие полного стиля речи благоприятствовало созданию текстов. Первоначальные тексты и возникали

как продукт массовой коммуникации. Поскольку тексты предназначены для хранения информации, то они должны быть составлены так, чтобы их можно было воспроизвести. До создания письменности эта задача была чрезвычайно сложной. В распоряжении человека было только одно надежное средство — его память. Поэтому в самых ранних текстах — сказках, заговорах, былинах — широко представлены характерная интонация, ритmicность, различного рода традиционные формулы и проч.

Задача сохранить тексты неизменными представляется языковому коллективу чрезвычайно важной. Так, нельзя изменить ни одного слова в заговоре, ни одного звука в абракадабре (колдовстве). Жесткие требования предъявляются и к сказителям. В условиях бесписьменности это единственный способ передать новым поколениям произведения фольклора. Именно ему мы обязаны тем, что до нас дошли прекрасные сказки и мифы, Илиада и Одиссея, Калевала и другие произведения, в течение столетий передававшиеся из уст в уста и бережно хранимые народом.

Создание письменности произвело настоящую революцию в развитии и распространении текстов. Появилась возможность записать для последующего воспроизведения текст любого содержания и любого объема. Поэтому с возникновением письменности развиваются различные жанры и вместе с этим разрастается богатая система стилей, возникает необходимость в создании полного стиля письменной речи. Появляется понятие орфографической, а позднее и пунктуационной нормы, которые по мере развития общества и увеличения количества письменных сообщений все более совершенствуются.

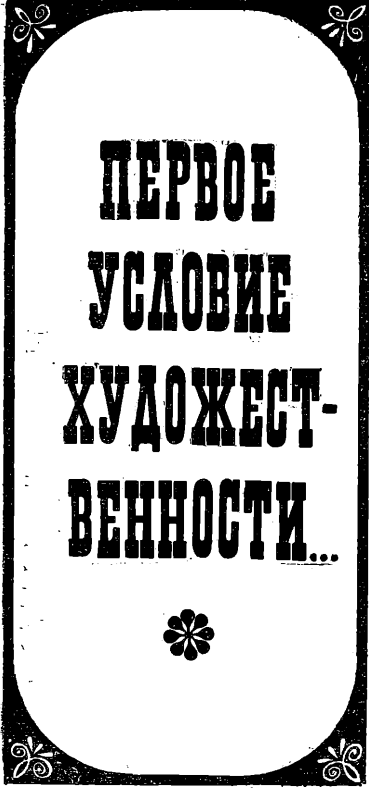
С возникновением письменности произошли весьма существенные изменения в отношении человека к тексту, связанные в первую очередь с обучением грамоте. Для того чтобы что-то написать, необходимо употребить систему графических знаков, а чтобы прочесть написанное, нужно уметь синтезировать эти знаки. При записи и чтении текста неизбежно возникает отношение человека к тексту как к объекту. Неслучайно в известной шутке ребенок, складывая буквы *сы* и *а*, *ны* и *о*, *гы* и *и*, получает слово *валенки*. Дети, которые учатся читать, тексты читают со специфической интонацией: они бубнят, нарушают интонационный рисунок, искажают слова, не замечая своих

ошибок. Это происходит потому, что текст они воспринимают как нечто искусственное, не имеющее ничего общего с естественной речью. По мере того как совершенствуются навыки чтения, читающий перестает ощущать искусственность той операции, которую ему приходится совершать при чтении, но тем не менее для человека воспроизведение текста всегда отличается от естественной речи.

Особенности различного подхода к тексту выявляются при сопоставлении чтения одного и того же отрывка мастером художественного слова на сцене и учителем при диктовке в классе. В первом случае воспроизведение становится искусством, во втором — оно стремится к предельной нормативности, освобождаясь от многих экспрессивных особенностей.

С ростом информации, которую должен получить современный человек, увеличивается число текстов, создаваемых и перерабатываемых им. Чтобы в наше время зафиксировать какое-либо сообщение, мы располагаем большими возможностями. Звукозапись позволяет воспроизводить любое речевое сообщение в том же виде, в каком оно возникло. Видеозапись, используемая вместе со звукозаписью, позволяет при воспроизведении речи сохранить также мимику и жесты, которыми говорящий сопровождал свою речь. Теперь мы имеем возможность фиксировать не только тексты, но и речь. В новых условиях происходят существенные изменения в структуре текста. Основное отличие текста от речи продолжает сохраняться — между участниками коммуникации отсутствует обратная связь, поэтому так важно использование полного стиля речи. Вместе с тем черты полного стиля письменной речи все больше уступают место чертам полного стиля устной речи: упрощаются синтаксические конструкции, меняется специфика строения всего текста и его отрезков. Отсюда те высокие требования, которые мы предъявляем теперь к тексту. Именно поэтому в наши дни объявлена столь беспощадная война штампу, шаблону, серости в языке, обедняющим нашу речь.

И. Г. ВАСИЛЬЕВА



**ПЕРВОЕ
УСЛОВИЕ
ХУДОЖЕСТ-
ВЕННОСТИ...**

Драматургические образы создаются исключительно речевыми средствами. В пьесе нет авторских отступлений, где уточнялся бы характер персонажа, объяснялись его мысли, переживания, отношения с другими действующими лицами, нет непосредственно выраженного отношения автора к событиям пьесы, ее персонажам. Кроме того, драматургическое произведение, как правило, пишется не для чтения, а для сценического воплощения. Поэтому драматурги создают как бы звучащие речевые образы: отбирая стилистические средства, они учитывают и смысловые и произносительные особенности этих средств. Великий русский драматург А. Н. Островский считал «первым условием художественности в изображении данного типа верную передачу его образа выражения, то есть языка и даже склада речи, которыми определяется самый тон речи» (Письмо к А. Д. Мысовской, 19 июня 1885).

Склад речи персонажа, с одной стороны, раскрывает внутреннюю суть его

характера, с другой — подсказывает исполнителю определенную речевую манеру — интонацию, тембр, темп и ритм, фразовое и логическое ударение, логические и психологические паузы, определенное произношение (литера-

турное, просторечное, диалектное, с акцентом). Без этой определенной, заложенной в стилистике драматургического произведения речевой манеры, характерной для данного персонажа, его внутренняя жизнь не может быть выявлена достаточно полно, ярко и достоверно. Поэтому исполнителю особенно важно правильно расшифровать и воплотить авторскую стилистику средствами речевой актерской выразительности.

Много и успешно работал в этом направлении народный артист СССР Н. П. Хмелев. В воспоминаниях разных людей о том, как играл он ту или иную роль, всегда идет разговор о характере речи персонажа, об особом интонационном рисунке, произношении, которыми артист с поразительной образностью раскрывал сокровенную сущность своего героя. В этом нетрудно убедиться и тем, кому не было суждено увидеть Хмелева на сцене, — стоит лишь прослушать магнитофонные записи сцен из спектаклей с участием артиста.

У хмелевского Силана («Горячее сердце» А. Н. Островского) — цветистая бытовая речь, предупредительные звуки *о* и *е* произносятся почти без ослабления, определенность и независимость суждений рождает определенность и весомость интонационного звучания; у князя К. («Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского) — старческая, шепелявая, несколько манерная речь, тягучий замедленный ритм, неопределенность, неуверенность интонаций, парижское произношение французских слов. Речевая манера Скроботова («Враги» М. Горького) — иная; ему свойственно резко, жестко «хлестать» словом, голос звучит желчно, ядовито, произношение — подчеркнуто литературное. У Каренина («Анна Каренина» Л. Н. Толстого) — размеренность интонационных повышений и понижений, чрезмерно растянутый ударный слог в некоторых словах, которые хмелевский Каренин произносит с наибольшим удовольствием, например «Я игнори-ирую это»; речь подчеркнуто правильная, литературная, чеканная, звучащая деловито, сухо, нет в ней тепла, живого искреннего чувства.

В различных ролях Хмелев использует и разные регистры своего голосового тембра. В роли Силана голос артиста звучит ниже, чем в роли Скроботова. В роли Грозного («Трудные годы» А. Н. Толстого), по свидетельству режиссера спектакля А. Д. Попова, Хмелев добился еще более низкого тембрального звучания, поскольку считал, что

в спектакле Грозному должна быть отведена «басовая партия».

Прослушивание магнитофонных записей, сравнительный анализ характера устной речи сценических героев Хмелева и стилистики их речи в пьесе убедительно свидетельствуют о том, что выразительные речевые средства при создании артистом образа рождались не ради беспочвенного речевого колорита, а всегда служили ярким выразителем внутреннего мира действующего лица. Кроме того, речевая манера персонажа не носила случайного характера, а всегда передавала авторскую интонацию, что, несомненно, помогало артисту перевоплощаться в столь различные образы, как Пеклеванов, Скроботов, Тузенбах, Иван Грозный, Каренин.

Артист не оставил после себя книг, воспоминаний. Однако есть несколько статей, стенограмм выступлений Н. П. Хмелева, есть и воспоминания актеров, режиссеров о нем. В воспоминаниях говорится о повышенной чуткости артиста к слову автора, о его страстном стремлении всякий раз угадать, раскрыть автора как можно глубже, овладеть всеми нюансами стилистики речи героя. Девизом Хмелева были слова: «Хочу сделать так, как хотел автор».

В статье «О „бедной“ роли» («Театр и драматургия», 1934, № 6) артист рассказывает, какое огромное значение придает он слову автора. Он много раз перечитывает автора. Известно, что, готовя роль Каренина, Хмелев четыре раза подряд перечитал роман, открывая все новые звуки, ритмы, краски в тексте, разбираясь, почему именно эта лексика выбрана автором, почему именно так построена фраза. «Речь актера зазвучит просто только после овладения всей системой стиля автора,— пишет Н. П. Хмелев.— Можно, конечно, просто произносить слова, не раскрывая смысла и богатства речи, но такая простота хуже воровства, потому что за ней ничего не скрывается. Ведь требование простоты на сцене является требованием несколько условным. Речь в драме даже у таких „простых“ авторов, как Чехов или Горький, конечно, приподнята, празднична, напевна и ритмична».

Режиссер В. Комиссаржевский вспоминает, что Хмелев учил вслушиваться в язык Пушкина, Тургенева, Горького, идти к художественной правде создаваемого образа через слово автора, через постижение авторского стиля. «Слово в конечном счете это все, все через него, все от него. До-

вертеться ему, если вы будете внимательны, собраны, пытливы и свободны — слово само приведет вас к сути, к зерну», — приводит Комиссаржевский высказывание Хмелева («Н. П. Хмелев за режиссерским столом»: М., 1956).

При постановке «Детей солнца» М. Горького Хмелев требовал, чтобы исполнители выражали суть, зерно образа через мелодию речи, через интонацию языка Горького. Он слышал музыку авторского языка, не разрешая даже в мелочах исказить авторский текст. «Нет, — бросал Хмелев исполнительнице Елены, — неужели вы не слышите: у Горького не в „его душе“, а в „душе его“. Ведь это как мелодия. Здесь нельзя фальшивить». При постановке «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского Хмелев также неустанно следил за речевой выразительностью персонажей. «Как вы говорите, Сима? — обращался он к исполнительнице роли Фетиньи, — у вас быстрая интеллигентная речь, и как бы вы верно внутренне ни жили, все равно я не поверю, что вы — Фетинья. Мысли у нее вялые, сонные. Ее мозги работают, как жернова. Говорит она крупно, смачно, широко... Нет, не



Н. П. Хмелев в роли царя Федора (спектакль «Царь Федор Иванович»)

так, это у Анны Тихоновны речь московских просвирен. А у вас грубее, массивнее. Очень открытая, широкая гласная *a*» (там же).

В речи всех своих персонажей Хмелев воплощал то, что всем строем языка подсказывал ему драматург. По собственному признанию артиста, роль Силана долго ему не удавалась. Помог язык Островского — яркий, полный юмора и лукавства. Хмелев услышал музыку народной речи Силана, построение фразы раскрыло ход его мыслей, показало характер произношения.

Режиссеры А. Д. Попов и М. О. Кнебель вспоминают, как Хмелев стремился проникнуть в стилистику «волшебника слова» — А. Н. Толстого при работе над образом Грозного: «Славянская вязь. Монологи на несколько страниц. Изобилие библейских выражений и цитат. Хмелев „по-шалайпински“ решил проблему речи. Он верил в действительную силу слова, любил каждую букву, знал тайну процесса возникновения слова из активной творческой мысли и с удивительной музыкальностью ощущал стилистическое своеобразие автора. Намечая основную мысль какого-либо монолога, он умел подчинять ей все поэтическое богатство текста» («Н. П. Хмелев — Иван Грозный». Ежегодник МХАТ. 1945). Страстный речевой ритм Грозного — Хмелева, живущего мыслями о приумножении мощи России, резко контрастировал с замедленным речевым ритмом бояр, стремящихся сохранить собственный покой и привычный образ мыслей.

Характер речи Каренина также обусловлен искусством Хмелева «слышать» автора, слышать речь персонажа. Синтаксические конструкции делового стиля в речи Каренина, которые встречаются даже в сценах объяснения с Анной, подсказали артисту и подчеркнуто правильное произношение, и размеренный ритм речи. Когда один из зрителей упрекнул Хмелева в том, что интонация артиста во фразе «Я люблю тебя, Анна» вызывает неверную реакцию в зале, — смех, Хмелев ответил в открытом письме, что толковал роль, исходя из отношения Л. Н. Толстого к образу Каренина, что глубоко изучил все творчество писателя, а не только «Анну Каренину». Хмелев напомнил, что у Толстого Каренин любит, но любит по-своему: «Каренин, как в протоколе говорит о своих чувствах [определение Толстого], он делает ударения на произвольно выбранных словах, он, как на заседаниях государственного совета, держит свою бесстрастно-леденящую

роль перед Анной — своей женой. Это так и не может быть иначе». И дальше Хмелев подчеркивает: «Это — просто толстовский Каренин, олицетворяющий собой „свет“, бездушный, эгоистичный, злой, со свойственным ему ханжеством и своеобразной моралью» («Советское искусство», 23 октября 1937).

Расшифровка и понимание творческой необходимости авторских речевых средств предполагает и определенную подготовку речевого аппарата актера: богатый по диапазону, профессионально тренированный голос, ясную дикцию, владение современным литературным произношением, владение законами стихотворной драматургии; умение при необходимости воплотить в речи персонажа диалектную или акцентную речь; умение не только найти в речи персонажа основные «мохнатые», по выражению Н. П. Хмелева, слова, но и артистично выразить их.

Таким образом, проникновение в авторскую стилистику исключает монотонность, однообразие речевого звучания в современном драматическом театре, а также требует от актера работы над разви-



Н. П. Хмелев в роли А. А. Каренина (спектакль «Анна Каренина»)

тием и обогащением его речевых выразительных средств, помогает актеру ярко, эмоционально мыслить и служит одной из существенных предпосылок для создания цельного, емкого сценического образа.

*И. Ю. ПРОМТОВА,
преподаватель кафедры сценической
речи Государственного института те-
атрального искусства имени А. В. Лу-
начарского*

ГЕРАНЕВЫЙ ИЛИ ГЕРАНИЕВЫЙ



Эти прилагательные в современном русском языке — параллельные производные от существительного *герань*. Слово *гераневый* создано по общему правилу образования имен прилагательных от названий растений: герань — гераневый и яблоня — яблоневый, сирень — сиреневый, черешня — черешневый, вишня — вишневый. Во всех этих прилагательных выделяется суффикс *-ев-* (*-ов-*). Второе прилагательное — *гераниевый* — в этот ряд образований не входит. При сопоставлении с производящей основой *герань* (герань — гераниевый) в нем выделяется часть *-иев-* (*-иев-*). Не входит оно и в ряд прилагательных на *-иев(ый)*: магнолиевый (магнолиевое масло, магнолиевый аромат), калиевый, кремниевый, натриевый и т. п. В этих прилагательных вычленяется суффикс *-ев-*, а предшествующее ему *-и-* (*-иј-*) относится к производящей основе: магнолиј(а) — магнолиј-ев-ый», калий — калиј-ев-ый, кадмий — кадмиј-ев-ый.

Как же возникло необычайное по структуре прилагательное *гераниевый*? Производящее существительное первоначально употреблялось в нескольких разновидностях. В Словаре В. И. Даля оно отмечено в трех вариантах: гераний, герань и ерань. Как единст-

венная форма *гераний* дается в «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847) и в «Полном филологическом словаре русского языка» А. И. Орлова (1885). В последнем Словаре читаем: «*Гераний, -ня (geranium),* раст. — журавлиный клюв. *-ниев (-ф), -ва, -во,* до одного какого-либо геранія отп., и *-ниевый (-вый), -вая, -вое,* до всего вида *-ниев (-ф)* отн...». В этом Словаре зафиксировано и прилагательное *гераниевый*: «*Гераниевая, -вая.* Ср. мн., бот. терм. — Травяные и полукустарниковые растения, представителем коих служит гераній». «Словарь русского языка» (1891—1895) и «Справочный словарь» А. К. Чудинова (1901) отмечают производящее существительное в двух разновидностях: *гераній* и *герань*.

С течением времени форма *гераний* постепенно вытесняется вариантом *герань*. В «Малом толковом словаре русского языка» П. Е. Стояна (1916) уже приводится только одна форма — *герань*. Во всех современных толковых словарях русского языка отмечается лишь этот вариант производящего существительного. Вариант *гераний* не приводится в них даже как устаревший.

С момента появления и позже в течение длительного времени в качестве единственного прилагательного отмечается в словарях слово *гераниевый*. Оно приводится в 4-томном «Словаре русского языка» (1957—1961), в словаре-справочнике «Русское литературное произношение и ударение» (1959) и «Орфографическом словаре русского языка» (1968). Интересно, что в издании 1949 года «Словаря русского языка» С. И. Ожегова зафиксировано лишь прилагательное *гераниевый*. В издании 1964 года наряду с ним приводится и вариант *гераневый*, который дается первым: «*герань // прил. гераневый и гераниевый.* Гераневые растения. Гераньево масло». То же в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» (1950—1965).

Ни один из современных словарей не снабжает слова *гераневый* и *гераниевый* какими-либо дифференцирующими или ограничительными пометами, однако в специальных текстах преобладает *гераниевый*. В работах по цветоводству: «Следует, однако, сказать, что комнатные растения, обычно всеми называемые геранями, на самом деле не герани. Верно, они относятся к семейству гераниевых, или журавельниковых, но мало общего имеют с родом гераней, травянистыми полевыми растениями, встречающимися у нас на кучах мусора, у заборов, на полях и лугах» (Н. Верзилин. Путешествие с домашними растениями. Л., 1958);

В специальной литературе образование *гераневый* только начинает входить в употребление. Что касается разговорной речи, то это прилагательное, по нашим наблюдениям, употребляется даже активнее, чем *гераниевый*.

Есть определенные основания утверждать, что оно может вытеснить конкурента: словообразовательная пара *герань* — *гераниевый* относится к продуктивному типу соотношений, а в паре *герань* — *гераниевый* между производящей основой и суффиксом *-ев-* находится *-ий*, который в других прилагательных этого словообразовательного типа не встречается. В составе прилагательного *гераниевый* он объясним только исторически: ведь это часть основы вышедшего из употребления существительного *гераний* (геран' + ий), на базе которого образовано данное прилагательное. С точки зрения современного русского языка отрезок *-ий* уже не является частью производящей основы, так как существительное *гераний* ныне окончательно вытеснено словом *герань*.

А. Н. ТИХОНОВ
Самарканд

ПОЧТА
«РУССКОЙ РЕЧИ»

ГРИБ И ПУГОВИЦА

Читатель Г. Г. Гармаш из Ростовской области обратил внимание на то, что в венгерском языке есть слова *gomba* 'гриб' и *gomf* 'пуговица'. Эти слова весьма напоминают чувашское *кӑмпа* 'гриб' и русское диалектное *губа* в значении 'гриб', видимо, послужившее в древнейшей форме первоисточником для чувашского *кӑмпа*: *у* в русском слове восходит к древнему славянскому сочетанию гласного и согласного *ам* (или *ом*), которое частично сохранилось в чувашском, но изменилось в самом русском языке.

Наблюдения читателя, однако, верны только наполовину: действительно, венгерское название гриба *gomba* имеет связь с русским *губа* и чувашским *кӑмпа*, а название пуговицы *gomf* (хотя пуговица, по словам Г. Г. Гармаша, «чем-то напоминает собой грибок, гриб без ножки») имеет другое происхождение.

Дело в том, что русское название гриба, губки — *губа* вместе с его названиями в других славянских языках: украинское *губа*, польское *hubka* 'трут', *huby* 'грибы'; болгарское *гъба*, и т. п., восходит к общеславянскому слову **гомба*, которое в свою очередь имеет исконное родство с близкозначащими словами в род-

ственных индоевропейских языках: литовское *gu^mbas* 'нарост, шишка', *kémpre* 'гриб'; латышское *gumba* 'шишка'.

Вероятно, первоначальное значение рассмотренных индоевропейских слов было 'нарост', 'шишка', а затем уже 'гриб', причем это значение возобладаало в общеславянском языке, ибо оно известно почти всем славянам.

Венгры пришли на место своего теперешнего обитания в самом конце IX века, когда там проживали славяне. Пришельцы постепенно ассимилировали местное славянское население, но усвоили от него довольно большое количество славянских слов, среди которых было и слово *gomba* 'гриб'. Между чувашским *кăмпа* и венгерским *gomba* есть существенная разница: в чувашском *кăмпа* частично сохранилось звучание древнего русского слова, слова соседнего языка, а в венгерском — сохранилось слово от исчезнувшего теперь славянского языка.

Некоторые языковеды считают, что к этому же славянскому корню восходят также греческое *спонгос*, *сфонгос* 'губка', латинское *fungus* 'гриб'. Греко-латинские формы возникли в результате перестановки звуков *г — б* в последовательность *б — г* и исторических изменений на почве этих языков. Интересно отметить, что и в финно-угорских языках также есть формы с перестановкой согласных *г — б* в последовательность *б — г*, причем начальный звонкий согласный *б* превратился в глухой *п*, а носовой губной согласный *м* изменился в *н*: марийское *понго* 'гриб', эрзя-мордовское *панго*, мокша-мордовское *панза*. Эти финно-угорские слова, вероятно, заимствованы из индоевропейских языков (скорее всего из русского).

Венгерское название пуговицы *gomb* имеет совсем другое происхождение: оно восходит к греческому *κόμπος* с тем же значением. В более или менее похожей форме оно распространилось в западно- и южнославянских языках, имевших контакты с венгерским. В виде *гомба*, *гомбичка* оно известно и украинскому языку, куда также попало от венгров. Это бродячее слово Восточной Европы и Балканского полуострова, восходящее к греческому источнику, не имеет отношения к названию гриба *gomba* 'губа'.

И. Г. Добродомов

Уважаемые
товарищи!

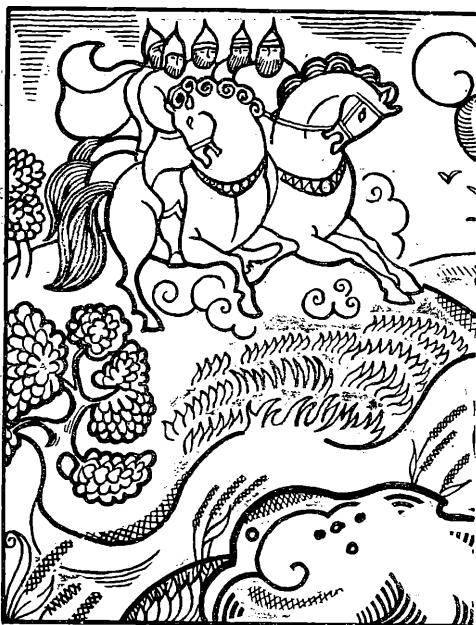
При изучении
русских былин
в V классе
мы сталкиваемся
с необычным
для современного
русского языка
суффиксом *-ти*
в неопределенной
форме
некоторых глаголов,
например:

послушати,
пообедати,
повытряхнути.

Объясните,
пожалуйста,
когда
этот суффикс
вышел
из употребления
и почему
он сохранен
в текстах былин,
изучаемых в школе.

С уважением

Н. А. Кондратьева,
учительница.
Новосибирск



ЧИТАЯ

Мы привыкли к тому, что неопределенная форма глагола (инфинитив) в русском литературном языке оканчивается на *-ть* или *-чь*: читать, голкнуть, класть, печь, беречь (возвратные глаголы оканчиваются соответственно на *-ться* или *-чься*: голкаться, беречься). Суффикс *-ти* употребляется лишь тогда, когда основа инфинитива оканчивается на согласный звук *с* или *з*: нести, везти. В этих формах *-ти* обычно находится под ударением, если не считать форм с приставкой *вы-*, которая как бы перетягивает на себя ударение с суффикса: *вынести*, *вывезти*. Формы на *-чь(ся)* относятся к числу форм



БЫЛИНЫ...

на согласный *к* или *г*, но этот согласный выявляется в других формах от тех же глаголов: пеку, беру, пёк, берёг. В инфинитиве согласные основы *к* и *г* сливаются с суффиксом *-ть* в один звук *ч*.

Однако в русских былинах мы встречаемся с формами инфинитива, у которых, несмотря на то, что основа оканчивается на гласный, суффикс *-ти* — безударный.

Они сели есть да пить да хлеба кúшати,
Хлеба кúшати да пообéдати...
«Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю,
А не вас-то я хочу да и послúшати.
Я обедал-то у старого казáка Ильи Муромца,
Да его хочу-то я послúшати».

Илья Муромец и Соловей Разбойник

Говорил Вольга таковы слова:
«Божья тебе помочь, оратаюшка!
Орать, да пахать, да крестьяновати,
С края в край бороздки помётывати,
Коренья, каменя вывёртывати!..».

Как бы сошку с земельки повыдернути,
Из омешиков земельку повытряхнути...
Стал Вольга тут покривати,
Колпаком Вольга стал помáхивати...
О Вольге Святославговиче
и Микулушке Селяниновиче

Вместе с тем, иногда даже в пределах одного стиха, в былинах широко употребляется обычный инфинитив с суффиксом *-ть*.

Ай к обеду поспеть хотел он в стольный
Киев-град...
Он как стал-то эту силушку великую,
Стал конем топтать да стал копьём колоть...
Илья Муромец и Соловей Разбойник
Стал Вольга растеть-матереть,
Похотелся Вольге много мудрости:
Щукою-рыбою ходить ему во глубоких морях,
Птицей-соколом летать под оболока,
Серым волком рыскать во чистых полях...
О Вольге Святославговиче
и Микулушке Селяниновиче

Откуда же взялся в былинах инфинитив с безударным суффиксом *-ти*? Обратимся за ответом к истории.

Формы на *-ти* — живое наследие того периода истории русского языка, когда на Руси еще только создавался былинный эпос, то есть до XIII—XIV веков. Естественно поэтому, что создавались былины на древнерусском языке, который и по словарному составу, и по звуковой системе, и, наконец, по грамматическому строю значительно отличался от современного русского языка.

Отличались от современных и древнерусские формы инфинитива, прежде всего тем, что все они имели суффикс *-ти(ся)* или оканчивались на *-чи(ся)*, независимо от того, ударными были *-ти* или *-чи* или безударными. Достаточно вспомнить знаменитое начало «Слова о полку Игореве»: «Не лепо ли ны башеть, братие, начати старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве, Игоря Святославлича?» (Не пора ли нам, братья, начать на старинный лад печальную повесть о полке Игоря, Игоря Святославича?). Или даже в заглавии «Повести временных лет»: «Се повести времянныхъ летъ, откуда естъ пошла Русская земля, кто в Киеве нача [начал] первее княжити...». Какой бы памятник древнерусской письменности мы ни взяли, везде преобладает инфинитив на *-ти*. Формы на *-ть* либо совсем не встречаются, либо встречаются очень редко.

Другими словами, в древнерусском языке инфинитив на *-ти* был таким же привычным и «нормальным», какими сейчас для нас являются формы на *-ть*.

Лишь начиная с XIV—XV веков вместо форм с безударным *-ти* все чаще и чаще употребляются новые — на *-ть* — и постепенно, примерно к середине XVII века, почти окончательно вытесняются ими на основной территории распространения русского языка. В настоящее время старые формы сохраняются лишь в некоторых севернорусских говорах, главным образом в речи старожилов. Кроме того, почти на всей остальной территории (а ее занимают все южнорусские, многие среднерусские и даже часть севернорусских говоров) процесс вытеснения старых форм инфинитива новыми пошел еще дальше: он охватил также и формы с ударным *-ти*, и здесь теперь до сих пор говорят *нести, весть* (ср. литературные *нести, вести*).

Конечное *и* утрачивалось не только в формах инфинитива. Утрата *и* в конечном безударном положении была довольно широким процессом в истории русского языка, и вытеснение старых форм инфинитива новыми являлось одним из следствий этого процесса. Это вытеснение, как и вообще все языковые процессы, начавшись в живой разговорной речи, постепенно охватывает и письменный литературный язык (здесь суффикс *-ти* употребляется в основном лишь под ударением), и язык устного народного творчества, в том числе — язык былин. При этом благодаря тоническому характеру былинного стиха (в нем свободно изменяется количество безударных слогов) старые формы заменяются новыми практически без ущерба для былинного ритма. Эта замена происходит в любых положениях (в начале, середине или конце стиха), исключая те случаи, когда старая форма на *-ти* образует дактилическое окончание (основное ударение в нем приходится на третий слог от конца), и замена ее новой формой на *-ть* приводила бы к образованию не характерного для былинного стиха женского окончания (с ударением на втором слоге от конца). Другими словами, если новые формы инфинитива с суффиксом *-ть* проникли в былинный стих благодаря его сравнительно свободному размеру, то старые формы на *-ти* сохранились в нем благодаря его относительной связанности в окончании.

Однако не нужно представлять дело таким образом, будто былинный текст — это какая-то окаменелость, которая из поколения в поколение воспроизводится с буквальной

ной точностью, и в ней отражаются лишь те изменения, которые происходят в говоре, в пределах распространения которого живет былина. Все обстоит несколько сложнее. Одна и та же былина воспроизводится различными поколениями сказителей по-разному. Сравним для примера два описания свиста Соловья Разбойника в вариантах одной и той же былины об Илье Муромце. Один из них принадлежит знаменитому сказителю Трофиму Григорьевичу Рябину (см.: Родная литература. Учебное пособие для V класса. — Т. С. Зепалова и др. М., 1971):

А то свищет Соловей да по-соловьему,
Он кричит злодей Разбойник по-звериному,
И от его ли то от посвисту соловьего,
И от его ли то от покряку звериного
То все травушки-муравы уплетаются,
Все лазуревы цветочки отсыпаются,
Темны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей, то все мертвы лежат.

Другой вариант находим в сборнике былин под редакцией В. Я. Проппа и Б. Н. Путилова. Он принадлежит правнуку Т. Г. Рябина — Петру Ивановичу Рябину-Андрееву, известному сказителю советского времени:

Как засвищет Соловѣй по-соловьиному,
Закричит собака по-звериному,
Зашипит проклятый по-змеиному,—
Так все травушки-муравы уплетаются,
Все лазуревы цветочки отсыпаются,
Мелки лесушки к землям приклоняются,
А что есть людей вблизи, так все мертвы лежат.

Как видим, эти два описания заметно отличаются друг от друга: в них разное количество стихов, внутри стихов — разное количество слов, некоторые слова из первого описания во втором заменены однокоренными или совсем другими (свищет — засвищет, кричит — закричит, темны лесушки — мелки лесушки); различаются формы одних и тех же слов (по-соловьему — по-соловьиному, к земле — к землям). Таких изменений в тексте любой былины постепенно накапливается довольно много, и с течением времени он очень заметно преобразуется в целом.

В то же время заметим, что в обоих приведенных описаниях передается в общем одно содержание и в основном одними языковыми средствами. Оба описания имеют сходные художественные особенности и даже в окончаниях стихов, что именно для нас и важно, употребляются одни и те же грамматические формы слов (за исключением

по-соловьему — по-соловьиному), не говоря уже о том, что в обоих описаниях все окончания — дактилические. Короче говоря, былинному тексту свойственна не только изменчивость, но и большая устойчивость, традиционность. Именно эта устойчивость, особенно ритмическая, и способствует сохранению в текстах былин некоторых (очень немногих) архаизмов, то есть таких языковых черт, которые в целом уже вышли из живого употребления.

Таким образом, формы инфинитива с безударным суффиксом *-ти* в былинах сохраняются от того времени, когда они были обычными в общенародном языке. Однако не все былины одинаково древние по своему происхождению: хотя классический период создания русского былинного эпоса и совпадает с периодом расцвета Киевской Руси (XI—XII вв.), все же новые былины возникали и позднее, вплоть до XV—XVI веков (см. целый раздел в сборнике былин под названием «Поздний воинский эпос»).

Вместе с тем на смену былинам постепенно приходят новые жанры эпической поэзии. Таковы прежде всего исторические песни, в которых определенные исторические лица и события отражаются уже конкретно-реалистически (в былинах историческая действительность преломлялась в условно-гиперболических, резко преувеличенных образах). Кроме того, в этот период формируется и такой жанр, как баллада, основным содержанием которой было изображение различных бытовых драм и трагических происшествий. Во всех этих произведениях: и в поздних былинах, и в тех исторических песнях и балладах, которые были близки по художественной форме к былинам, мы находим такие же закономерности в употреблении форм инфинитива с безударным *-ти*, как и в наиболее древних былинах. Возникает вопрос, откуда же в этих произведениях взялись формы на *-ти*? Ведь ко времени их создания формы на *-ть* в общенародном языке были уже преобладающими, и, казалось бы, никакой необходимости в употреблении старых форм не было!

Может быть, это объясняется тем, что все былины, а также близкие к ним по форме исторические песни и баллады, — все те произведения устной народной поэзии, для которых характерны в основном одни и те же художественные особенности, прежде всего ритмические, — сохранились главным образом лишь в северных областях европейской части СССР, там, где в отдельных говорах, как мы знаем, еще употребляются в живой речи старые

формы с безударным *-ти*? Возможно, что употребление этих форм в перечисленных произведениях в какой-то мере поддерживалось их употреблением в некоторых говорах. Но лишь в какой-то мере, так как эти формы широко употребляются в таком повсеместно распространенном на территории Советского Союза жанре устной народной поэзии, как лирическая песня, имеющем также сравнительно позднее происхождение. Кому, например, не знакомы такие строки из русских народных песен:

Не шуми, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати...

или

Знать, уж мне по улице не хаживати,
Травушку-муравушку не таптывати...

Все эти факты можно объяснить тем, что по мере того как формы инфинитива с безударным *-ти* выходили из употребления в общенародном языке, сохраняясь в то же время по разным причинам в различных жанрах устного народного творчества (к ним относятся не только былины, но и заговоры, заклинания, пословицы, обрядовая поэзия — жанры еще более древние, чем былины), они постепенно стали приобретать определенную стилистическую окраску и восприниматься как одно из художественно-выразительных средств языка устного народного творчества. К таким средствам, например, в тех же былинах относятся постоянные эпитеты (*добрый* молодец, *чисто* поле, *черный* ворон), уменьшительно-ласкательные суффиксы (*удаленький*, *травушки*, *цветочки*, *реченьки*, *стремечко*); различного рода повторения — как отдельных слов и словосочетаний (*Прямоезжая дорожка заколодела, // Заколодела дорожка, замуравела*), так и целых описаний, так называемых общих мест (ср., например, описание свиста Соловья Разбойника, повторяющееся трижды на протяжении былины «Илья Муромец»).

Именно в качестве такого художественно-выразительного средства формы инфинитива с безударным *-ти* впоследствии начинают употребляться и в других, более поздних жанрах устного народного творчества — исторических песнях, балладах и особенно в лирических песнях. Эти формы, выйдя из употребления в общенародном языке, как бы зажили второй жизнью в произведениях устного народного творчества, выполняя в них художественно-выразительную функцию.

Теперь нам ясно, что эти формы — живой отголосок того времени, когда они были такими же обычными и «нормальными» в древнерусском языке, какими в современном русском языке являются формы на *-ть*. Поэтому, при чтении былин, встречаясь с подобными явлениями, важно помнить, что это не прихоть сказителя, а либо свидетельство глубокой старины (формы инфинитива с безударным *-ти*), либо — что гораздо чаще — живая черта родного для того или иного сказителя народного говора, например формы 3-го лица единственного числа глаголов *прохаживат*, *презживат*. Об этом тем более полезно помнить, что в новом учебнике по литературе для V класса тексты былин наконец-то воспроизводятся гораздо ближе к тем записям, которые были сделаны в свое время собирателями произведений устного народного творчества непосредственно от исполнителя и которые поэтому с большой точностью отражают живую речь сказителей. В старом учебнике для VI класса и во всех предыдущих его изданиях в угоду литературной «правильности» часто допускались даже искажения былинного ритма: «Ай ты славный богатырь святорусский» вместо «Ай ты славныя богатырь святорусский» (не говоря уже о других неточностях). К сожалению, и новый учебник в этом отношении не совсем свободен от недостатков, здесь имеются неуместные замены (*крестьянствовати* вместо *крестьяновати*, *величают* вместо *звеличают*), неоправданные пропуски отдельных стихов, особенно в былине о Вольге. Но все же в целом основные особенности языка былин передаются здесь точнее, чем в старом учебнике, а былинный ритм почти нигде не искажается.

Л. Н. МАКЕЕВ

9 апреля. Чибис прилетел — на хвосте воду принес. В этот день щука хвостом лед разбивает, под порогом брод на улице переплывает.

8 мая. На Марка небо ярко — бабам в избе жарко.

18 мая. Арина Рассадница. Рассаживают капусту на гряды. Сажая капусту, приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузаста. Не будь пустая, будь тугая. Не будь красна, будь вкусна. Не будь стара, будь молода. Не будь мала, будь велика».



ОТ СОДЕРЖАНИЯ К ФОРМЕ

Давно замечено, что при нормальном восприятии мы не обращаем внимания на материальную сторону словесного знака, то есть языковой знак — слово, грамматическая форма — обладает свойством прозрачности значения.

Вот описание проведенных с детьми 4-5-летнего возраста Л. С. Выготским и его последователями некоторых экспериментов, которые иллюстрируют это свойство языка. С детьми проводят игру, по условиям которой собака и корова меняются названиями. Экспериментатор начинает беседу. «Если у собаки рога есть, дает ли собака молоко?» — спрашивают у ребенка. — «Дает». — «Есть ли у коровы рога?» — «Есть». — «Корова — это же собака, а разве у собаки есть рога?» — «Конечно, раз собака — это корова, раз так называется — „корова“, то и рога должны быть. У такой собаки, которая называется „корова“, маленькие рога обязательно должны быть».

Меняются названиями окно и чернила. На вопрос, прозрачны ли чернила, получают ответ: «Нет». — «Но ведь „чернила“ — это окно, „окно“ — чернила». «Значит, чернила — все-таки чернила, и не прозрачные» (Л. С. Выготский. Мышление и речь. М., 1934).

Опыты Т. О. Гиневской и Н. Г. Морозовой, описанные А. Р. Лурия, несколько видоизменяют условия игры, выясняют, воспринимают ли дети синтаксическую форму:

Леня П., 6 лет.

— «Дерево упало». Сколько здесь слов?

— Одно слово.

— Почему?

— Потому что одно упало.

Зоя А., 5 лет.

— «Два дерева стоят». Сколько слов?

— Два слова. Потому что два дерева.

— «Три дерева стоят». Сколько слов?

— Три слова...

— «В комнате стоят стол и стулья».

Сколько слов?

— Три слова.

— Почему?

— Потому что стол и стулья (А. Р. Лурия. О патологии грамматических операций).

Сущность явления прозрачности значения языкового знака для восприятия взрослых, отлично владеющих родной речью, проявляется в том, что при чтении хорошо написанных литературных произведений они не замечают языка писателя, а видят стоящие за ним образы или следят за течением его мысли. Еще Лессинг обратил внимание на это явление как на показатель степени совершенства языка писателя.

Обучение языку непременно проходит стадию осознания материи языка, мысленного «разделения» языкового знака на собственно слово и то, что оно обозначает. Уже на первых уроках грамматики учитель привлекает внимание ребенка к форме данного слова (к звукам, морфемам и т. д.), учит его отличать обозначаемое от обозначающего.

Обозначающее (материя) и обозначаемое (смысл) языкового знака — предмет изучения в школе. Если учитель сумеет найти методические средства, которые помогут ребенку понять, что именно является предметом изучения (например в предложениях «Я вижу зайчика» и «Я вижу зайчик» нужно «увидеть» винительный падеж одушевленного и неодушевленного существительного, а не реального зайца и солнечный зайчик), если ребенок научится абстрагироваться от «содержания» к «форме», тогда он будет учиться родному языку охотно. Он поймет, чего от него хотят. Если же не поймет (а это иногда случается), он навсегда получит отвращение к урокам языка.

Чтобы ребенок научился отвлекать слово от «вещи», надо пока з а т ь ему в текстах факты многозначности и синонимии слов (лингвистические термины «многозначность», «синонимия» он не поймет, раньше чем не научится узнавать эти явления в речи). Ребенку называют,

например, слово *вишня*; он не «слышит» слова, а «видит» саму вещь. Но в зависимости от жизненного опыта один видит вишню-ягоду, другой — вишню-дерево (это обнаруживается, если, например, детям предлагают нарисовать «вишню»). И когда товарищи по парте сопоставляют свое различное понимание одного и того же слова, их удивлению нет предела: оказывается, слово существует само по себе. А удивление — это родник любознательности, движущая сила открытий. Дети начинают «открывать» значения в самых знакомых им словах, данных им в словосочетаниях: письменный *стол* (мебель), диетический *стол* (пища); *идет* прохожий (шагает), *идут* часы (работают), *идет* шляпка (украшает); *стоит* мальчишка (не двигается), *стоит* лес (растет), *стоит* жара (продолжается).

Любознательность, жажда открытий поддерживается на уроках русского языка хорошим дидактическим материалом, правильно выбранным текстом. Так, ученик IV класса почти без объяснений поймет явление многозначности слова, прочитав стихи Г. Демькиной:

Пять рабочих ставят дом.
Ставит опыт агроном.
(Он растит такую рожь,
с головой в нее уйдешь).
Ставит счетчики монтер.
Ставит фильмы режиссер
(снял он сказку «Колобок»,
чтобы ты увидеть мог).
Мама ставит пироги
(подойди и помоги!).
А диагноз ставит врач:
«Просто насморк. Спи, не плачь!».
Если кончился рассказ,
ставить точку в самый раз.

Явление многозначности слова учитель сопоставляет с явлением синонимии: ставить дом — строить, ставить опыт — организовать, ставить счетчик — устанавливать, ставить фильмы — снимать, ставить тесто — замешивать, ставить диагноз — распознавать болезнь, ставить точку — писать. Ведь если можно сказать вместо *ставить дом* — *строить дом*, то, очевидно, одно и то же действие можно назвать двумя разными словами: сильный *ветер* можно назвать *бурей* и *ураганом*; человека *смелого* можно назвать *храбрым* и *отважным*. Два и больше слов для обозначения одного явления (синонимия) — обратная сторона многозначности слова. Эту связь ученики могут почувствовать и осознать. Предложите им такое стихотворение:

Дорогой зовут автостраду
и тропку, бегущую рядом,
и плях, что лежит на равнине,
и путь каравана в пустыне,
и шаг альпиниста по круче
к вершине, упрятанной в тучах,
и след корабля над волнами,
и синие выси над нами.
И вскоре пополнится новым
значеньем привычное слово.
Представьте: готова ракета
к прыжку на другую планету.
Прощаясь с ее экипажем,
стоящим у звезд на пороге,
мы просто и буднично скажем:
«До встречи! Счастливой дороги!».
Подумайте только, как много
Значений у слова «дорога»!

В. О с т е н

Еще труднее, чем лексические, выделить грамматические значения, которые, как известно, соотносятся с логическими категориями. Объективно существующие отношения между явлениями действительности (по месту, времени, причине, цели и др.) и «материя языка», с помощью которой человек только и может воспринимать эти отношения (предлоги *над, перед, после, вследствие, благодаря, ради* и соответствующие падежные флексии *-ом, -а, -у*), для младшего школьника так же «нерасторжимы», как для дошкольника слово *окно* и реальное окно.

Ум растущего ребенка, его способность воспринимать (чувствовать) логические отношения в объективной действительности развиваются по мере того, как он приобретает грамматические навыки (их нельзя смешивать с орфографическими). Правильно поставленное обучение языку, грамматике способствует развитию ума и речи (как внешнего показателя интеллекта) учащихся.

Обучение невозможно без целесообразно отобранных текстов: связанных отрывков, предложений, словосочетаний, в которых дети могут увидеть нужные грамматические формы. Дети понимают смысл грамматических форм и тогда, когда эти формы даны в сопоставлении (в подборке грамматических синонимов). Так, грамматическое значение причины осознается детьми на тексте Н. Н. Носова — «Приключения Незнайки и его друзей».

— Вы заметили, что у меня все на кнопках? — спросил механик Шурупчик. — Одну кнопку нажмешь — откроется дверь, другую нажмешь — откинется стул, а если вам надо стол, то пожалуйста...

От стены откинулась крышка стола (Шурупчик нажал нужную кнопку) и чуть не задела по голове сидевшего на стуле Винтика.

— Не правда ли, очень удобно? — спросил Шурупчик.

— Изумительно! — подтвердил Винтик и *оглянулся* по сторонам, *боясь*, как бы еще что-нибудь не свалилось ему на голову.

Внимание учеников задерживается на деепричастии: *оглянулся* (почему?) *боясь*. Деепричастие — это форма, которая сама собой не появляется в детской речи (не «впитывается» из речи взрослых). Еще К. Д. Ушинский заметил, что пушкинские стихи «в салазки Жучку посадив, себя в коня преобразив» дети упорно переделывают: «в салазки Жучку посадил, себя в коня преобразил».

Употреблению деепричастия детей надо научить. Объясняется грамматический смысл деепричастия в данном предложении с помощью «перевода»: 1) «Винтик *оглянулся* по сторонам, *боясь*, как бы...» — 2) «Винтик *оглянулся* по сторонам, *потому что боялся...*» — 3) «Винтик *оглянулся* по сторонам *из боязни* (из страха)...» — 4) «Винтик *оглянулся* по сторонам: *он боялся...*».

Уже одно это сопоставление синонимичных грамматических форм («перевод» одной формы на другую) заставит детей почувствовать их реальность.

К сожалению, в нашей детской литературе для младшего возраста очень трудно найти дидактический материал для развития у детей грамматических навыков: авторы обычно «упрощают» синтаксис своей речи, приближая ее к разговорной. Книга Н. Н. Носова — счастливое исключение: она написана полноценным в грамматическом отношении русским языком и несомненно обогащает речь и ум читателей.

Работу по сопоставлению синонимичных грамматических форм надо начать уже в IV классе и постепенно усложнять ее. Подчинительный союз *потому что* в приведенном отрывке сопоставляется с союзами того же смысла и стиля (нейтрального): оттого что, так как, из-за того что. В старших классах в текстах книжного стиля учащимся показывают и союзы: ибо, благодаря тому что, в виду того что, в силу того что; учат употреблять каждый из них.

Предлог *из* (в значении причины) сопоставляется с предлогами того же смысла *от*, *с*, *из-за*, *за*, *по*. Дети узнают, что не все предлоги принято употреблять с любыми словами, говорят: *из* уважения, но *от* радости (*от* уважения, *из* радости — нельзя сказать), в отчаянии (не *из-за* отчаяния), *из-за* дождя, *по* требованию, но *за* отсутствием.

Учитель обращается за дидактическим материалом к мастерам слова, писателям, чтобы на признанных образцах употребления в речи грамматических форм (в нашем случае — форм обозначения причинных отношений) показать детям и стилистическую функцию, и тонкости грамматических значений. Ведь вместе с указанием причины тот или иной союз или предлог обозначают и «благоприятную» или «неблагоприятную» причину (благодаря, из-за), представляет событие как результат, как вывод, как сопутствующее (в результате, вследствие, ввиду).

Дидактический материал ученикам дается в виде предложений с «разрушенными» частями, с заданием восстановить в этих частях грамматическую форму: угадать, какую из существующих в русском языке форм выбрал для данного контекста автор и почему именно она здесь уместна.

Н а п р и м е р: какой предлог стоит перед взятым в скобки существительным и в каком падеже стоит это существительное? Почему?

Возможные предлоги: благодаря, согласно, в результате, от, из-за, за, из, ввиду, вследствие, по причине, в, по.

1) ... (перестрелка) корабль взорвался, а фрегат вынужден был спустить свой флаг (Сергеев-Ценский). 2) Егор считался лучшим охотником во всем уезде. Он редко выстреливал по птице... (скудость) пороха и дроби. Но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиный (И. Тургенев). 3) Живут кувшинки только днем, а с наступлением вечерних сумерек цветок бережно сворачивает лепестки в бутон и уходит на всю ночь в таинственный подводный мир, оставляя на озере приятный аромат... (такой образ) жизни кувшинок, почти у всех народов созданы чудесные легенды, предания, сказки о русалках, богатырях, о человеческом счастье (Г. Федосеев). 4) ... (решение) нашего верховного государственного органа о сокращении Вооруженных Сил, корабль с нынешнего дня исключается из числа боевых кораблей флота, а экипаж его расформировывается и увольняется в запас (С. Шуртаков). 5) Я иду себе, иду да поокиваю. Просто так говорю, то ль... (радость), по-онежски, по-пинежски да по-ладожски (А. Прокофьев).

О т в е т: 1) в результате, 2) за, 3) благодаря, 4) согласно, 5) от.

Обратим внимание еще на одну возможность сопоставления, которая очень интересует учеников IV класса, где подводится итог всего школьного курса фонетики. Это сопоставление человеческой речи со звуками, которые

издают животные (шимпанзе, дельфины и др.). Звуки эти служат животным для передачи друг другу разных сигналов: «опасность», «уходи», «пища». И все же здесь нет языка. Почему?

У животного каждый звук — это «слово», сигнал. Значит, если в распоряжении шимпанзе 20—30 звуков, то он имеет в запасе не больше 30 «слов». У человека другое дело: у него звук — это не слово, это элемент (мельчайшая частица) слова. Сам по себе звук, например звук *а*, не значит ничего, но попадая в слово, он придает ему новое значение; дым — дам, сед — сад, сом — сам.

Интуитивное усвоение родного языка — это естественный процесс, который можно сделать более интенсивным с помощью целесообразного дидактического материала.

Уже в IV классе можно дать детям «почувствовать» стиль речи, помочь объективировать для себя и это языковое явление. Прием тот же: сопоставление. Два текста из романа-сказки Н. Н. Носова — 1) рассказ Незнайки о том, как «строил» воздушный шар и 2) разъяснения машиниста универсального комбайна Калачика, как устроена его машина, дети читают, чтобы установить, чья речь (Незнайки или Калачика) более уместна для разъяснения существа вопроса.

Ученики проявляют стойкий интерес к стилистическим свойствам текста, то есть вопросу об уместности данной формы речи в конкретной ситуации, для определенных целей общения. Сопоставляя приведенные выше два текста, дети с увлечением отыскивают черты разговорного стиля в речи Незнайки — диалогическое строение связанного текста, неполные предложения, специфические для диалога синтаксические конструкции: «Где уж нам!»; «Что тебе стоит!»; «Ужас что делается!»; черты книжного стиля в речи Калачика — монолог, распространенные предложения с «называнием» логических отношений между явлениями: сначала; потом; наконец; подкормка, которая содействует; *благодаря чему* удается; при вспышке; *в зависимости* от натяжения; услышав гудки, машинист... Стилистический анализ текста открывает перед учащимися прикладные цели обучения. Осознание возможности практически воспользоваться своими знаниями, по наблюдению психологов, всегда является важным стимулом учения.

Л. П. ФЕДОРЕНКО

О М О Н И М Ы

При многозначности мы имеем дело с одним и тем же словом в различных значениях, обычно в прямом (первичном) и переносном (вторичном). Как бы ни отклонилось первичное значение от вторичного, оно все же не теряет с ним смысловую связи. Так, в выражениях *жали руку* 'здоровались' и *жали всюю* 'торопились' один и тот же глагол *жали* выступает во втором примере в переносном значении, взятом из выражения «Нажать на все педали» (Приложить все усилия).

О м о н и м ы — это слова, совершенно различные по значению, часто по происхождению и морфологической форме (омоформы), лишь случайно совпадающие по написанию (омографы) или произношению (омофоны). В словосочетаниях *жали руку* и *жали овес* перед нами — омонимы, слова, совершенно различные и по значению (*жать* — 'давить' и *жать* — 'срезать стебли'), и по происхождению (*жьмти* — *жьму* и *жьнти* — *жьну*), которые случайно совпали в некоторых формах в результате исчезновения древнего носового звука.

1. Укажите, какие из выделенных слов многозначны, а какое из них представляет собой омоним:

1) «На столбовой дороженьке *сошлись* семь мужиков» (Некрасов).

2) «Два командира не *сошлись* мнением насчет войны» (Новиков-Прибой).

3) «Если тебе не поверят, *сошлись* на меня».

2. Подберите словосочетания или предложения с омонимами к выделенным словам:

простой вопрос; молодой *побег*; сплав меди с цинком; высокая *нога*; водопроводный *кран*; материнская *ласка*; производственный *брак*; крашеный *пол*; *увязал* по колени.

3. В каких грамматических формах и в чем именно не совпадают омонимы *лев* 'животное' и *лев* 'денежная единица', *мех* 'шерсть' и *мех* (кузнечный), *слепить* 'вылепить' и *слепить* 'ослепить'?

4. Назовите омонимы к слову *расти*.

5. В каких формах появляются омонимы слов *вести* и *велеть*, *мести* и *молоть*, *пилить* и *пить*, *лететь* и *лечить*?

6. Припомните слова, включающие морфемы-омонимы из греческого или латинского языков:

морф 'форма' и *морф* 'сон', *пед* 'дитя' и *пед* 'нога', *терр* 'земля' и *терр* 'пугать'.

7. Ответьте на шуточные вопросы:

1) Может ли глагол *мешать* иметь противоположное значение?

2) Что можно разбить, получив за это не выговор, а благодарность?

3) Какую реку можно срезать ножом?

4) Какой город летает?

5) Какой город и государство можно носить на голове?

(Ответы на стр. 140)

А. Т. Арсирий
Ужгород

УЧЕБНИК РОДНОГО ЯЗЫКА

Появление нового стабильного учебного пособия по русскому языку для V класса — крупное событие в жизни школы. Учебник существенно отличается от предыдущих как по содержанию, так и по структуре. В пособии нашли отражение достижения современной науки о языке. Вполне отвечают требованиям научной грамматики предложенный фонетический разбор текста, понятие о различных пластах лексики, способы образования слов и др. Авторы знакомят учащихся с научной терминологией, например: производящая основа, профессиональная и диалектная лексика и т. п. Научный теоретический материал излагается интересно, языком четким, доступным, но без излишнего упрощения.

Учебник построен со строгим соблюдением принципа преемственности — каждый новый раздел начинается повторением изученного в IV классе, затем сведения по теме, навыки и умения, получаемые учащимися в связи с работой над ней, расширяются и углубляются, что вполне соответствует требованиям новой программы.

Важная особенность учебника — системность в закреплении и повторении материала, которой способствует и система помет, новая для наших школьных учебников.

Краткие статьи о русских языковедах, диалектологическая карта, справки о различных явлениях языка, статьи о титульном листе, красной строке — все это расширяет филологический и общий кругозор учащихся, а также имеет большое воспитательное значение. Работа над помещенным в учебнике словарем, статьи которого построены по принципу толкового словаря, знакомит учащихся со

Продолжаем публикацию материалов об учебнике русского языка для V класса — М. Т. Баранов, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова. Русский язык. Учебное пособие для V класса. М., «Просвещение», 1971. Под редакцией члена-корреспондента АПН СССР, доктора филологических наук Н. М. Шанского (см. «Русскую речь», 1972, № 1, 2).

По просьбе редакции учебник был обсужден на кафедре методик преподавания русского языка и русской литературы Тбилисского государственного педагогического института имени А. С. Пушкина. Предлагаем нашим читателям отзыв этой кафедры, а также отклик на наши материалы заведующего кафедрой русского языка Мозырского педагогического института имени Н. К. Крупской доцента М. И. Гетманского.

стилистическими, грамматическими и орфоэпическими пометами.

Стимулируют развитие наблюдательности и логического мышления учащихся принципы подачи теоретических сведений, характер заданий и упражнений, а также контрольных вопросов в конце разделов. Во многих заданиях ставится проблема, решение которой требует умения творчески использовать ранее полученные знания. Обильно привлекаются различные учебные ситуации, наблюдения над языковыми явлениями, предлагаются образцы рассуждений.

Ценным является то, что авторы стремятся организовать самостоятельную работу учащихся, привить ее навыки, например приводят памятки о том, как готовиться к диктантам, как работать над изложением; последовательно приучают детей к работе со словарями и различными справочниками.

Привлекает внимание свежесть материала текстов упражнений, их занимательность и художественная ценность. Последовательно осуществляемый принцип наглядности обучения — одно из ценных качеств учебника. Такие учебники нужны школе, и некоторые недочеты (неизбежные во всяком начинании) не снижают их общей бесспорной ценности.

*Профессор Е. Д. БАТИАШВИЛИ, доцент
В. Н. БРЕГВАДЗЕ, Р. А. ПЕВНАЯ,
В. З. СИМОНЯН, Т. А. ХАРАЗИШВИЛИ,
Н. З. БЕРИДЗЕ*

К СОКРОВИЩАМ РОДНОГО ЯЗЫКА

Учебное пособие по русскому языку для V класса помогает ученику самостоятельно размышлять над языковыми явлениями, учит применять грамматические правила в устной и письменной речи. Авторы постоянно и умело создают «поисковую» ситуацию, чему способствуют интересные рассказы, схемы и таблицы, веселые рисунки. Большая часть заданий — синтетического характера, например: «Составить предложения с каждым из данных ниже синонимов. В ваших предложениях должно быть показано отличие синонимов друг от друга» (упражнение 54). Много заданий для усвоения связной речи. Так, авторы предлагают учащимся попробовать о чем-то рассказать или написать, используя нужные слова или изученные грамматические категории. В других заданиях предлагается составить и записать текст по данному началу, написать сочинение по картине, например К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» и др. Пособие предусматривает также работу учащихся по деловому письму.

Интересны стилистические упражнения. В упражнении 209 требуется списать текст, вставляя пропущенное слово *кино*, и указать падежи, в которых оно употреблено. При этом учащиеся должны записать в исправленном виде те предложения, в которых слово *кино* употреблено неправильно.

Главное достоинство учебника — научность, точность формулировок. Выделенные для запоминания правила и определения четки, лаконичны и просты. Это касается всего материала, в частности изложения таких тем, как разграничение форм словоизменения от словообразовательных рядов, понятие о производной и производящей основе, способы образования слов. Тема «Словообразование» способствует как усвоению школьниками научных сведений о языке, так и воспитанию у них орфографической зоркости. Авторы удачно раскрывают детям «тайны» родного языка: чередование гласных и согласных в корнях в процессе словообразования, наличие связанных корней, омонимичность аффиксов или отдельных их частей, морфологический и неморфологический способы образования слов. Все это важно для повышения языковой культуры школьников.

Хорошо продумана система повторения и обобщения того, что усвоено в IV классе. Кстати, пособие для V клас-

са сохраняет и развивает лингвистические, психологические и методические традиции, положенные в основу учебника по русскому языку для IV класса.

В V классе изучаются морфологические темы, которые усваиваются на основе синтаксиса. Это позволило авторам продумать систему повторения темы «Синтаксис и пунктуация», изученную в начале IV класса. Авторами предусмотрено и повторение фонетики: «Какие звуки обозначены выделенными буквами?», орфоэпии, ударения: «Спишите и поставьте ударение над выделенными словами», «Произнесите сложносокращенные слова: СССР, КПСС, ВЛКСМ, РСФСР» и т. д. Многократно повторяются трудные для произношения слова: акаде́мия — д'; агресси́я — р' и др. Повторение продумано при изучении всех тем, в начале и в конце учебного года. Для этой цели авторы предлагают контрольные вопросы и задания, схемы грамматического разбора.

Очень удачно тезисное изложение изученного теоретического материала перед объяснением новой темы. Это оправдано и тем, что изложение материала в пособиях для IV и V классов сохраняет линейно-ступенчатый принцип. Для справок приведены небольшие словарики: орфографический, толковый и орфоэпический, а также список изученных пунктуационных правил и орфограмм в IV и V классах.

Авторы учитывают возрастные особенности ученика, его опыт и интересы. В пособие включены занимательные тексты о Родине, о природе, о героическом труде советского народа, о людях, для которых родной язык был «делом всей жизни» (статьи о М. В. Ломоносове, А. Х. Востокове, Ф. И. Буслаеве, В. И. Дале, Д. Н. Ушакове). Нам кажется, что такие статьи должны быть и в учебниках для VI—VIII классов. В учебнике использован экономный путь введения необходимой информации через тексты упражнений. Так, дается объяснение происхождения слова *самолет*, рассказывается о *ф* — самой удивительной букве русской азбуки.

Известный авторский коллектив сотрудников Института содержания и методов обучения АПН СССР создал новое учебное пособие по русскому языку, которое воспитывает у детей, говоря словами С. Я. Маршака, добрый ум и умное сердце.

Однако нельзя не обратить внимания на некоторые недостатки книги.

Репродукции картин художников — маленькие по размерам, невыразительно черно-белые, поэтому трудно по ним писать сочинения и выполнять другие работы по развитию речи. Многие рисунки выполнены небрежно. Следует сделать красочными хотя бы репродукции картин художников.

Желательно включить в пособие дополнительно несколько ярких текстов о жизни и труде пионеров, предложить задания для проведения свободного и творческого диктантов, важных для подготовки к изложению и сочинению. Хотя авторы удачно использовали графический способ объяснения и закрепления изучаемого, но, по-видимому, дополнение следовало бы подчеркивать черточками, а не точками. Более частыми точками авторы предлагают выделять обстоятельства. Это ведет к смешению дополнений и обстоятельств.

В целом пособие по русскому языку для V класса заслуживает высокой оценки.

Доцент М. И. ГЕТМАНСКИЙ

Справка

**ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
В 1971 ГОДУ**

Калининградский государственный университет

Историко-филологический факультет

1. Тема революционной борьбы и образы революционеров в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
2. Проблема личного и общественного в романе М. А. Шолохова «Поднятая целина».
3. Наследники Великого Октября (по произведениям современной советской литературы).

Отделение романо-германской филологии

1. Патриотический пафос романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
2. Революционный народ в творчестве М. Горького.
3. Тема становления характера молодого человека в современной советской литературе.

Экономико-правовой факультет

1. Чацкий и Онегин (опыт сравнительной характеристики).
2. Маяковский и наша современность.
3. Тема героического подвига в современной советской литературе.



ЛИХВОЙ

В современном русском языке слово *лихва*, как отмечают толковые словари, употребляется лишь во фразеологическом обороте с *лихвой*, принадлежащем к разговорной речи. Например:

Мороз под сорок пять с лихвой.
Новосибирск. Пурга.
Мой друг вошел в вагон с пургой
На нем — доха.

З а м я т и н. Мой друг из Сибири

Возможно, однако, и несколько иное употребление этого оборота: «Сокращение рабочего дня с лихвой окупилось увеличением напряженности труда» (Г. В. Плеханов. Статьи против П. Струве); «Кажущееся уменьшение вооруженных сил в виде численного сокращения войск в настоящее время с лихвой компенсируется насыщением армий военно-техническими средствами» (М. М. Литвинов. Речь на заседании VI сессии Комиссии по разоружению 6 ноября 1930); «Следует самим проявить инициативу, не опасаясь дополнительных хлопот, потому что достигаемый результат с лихвой вознаграждает за эти хлопоты» («Ленинградская правда», 5 апреля 1956).

Чем отличаются эти примеры от приведенного выше? Прежде всего сферой своего употребления. Контексты здесь явно не разговорные. Обращают на себя внимание

и значения глаголов *вознаградить, компенсироваться, окупиться*, указывающие на смысловое ограничение данного фразеологизма: 'с избытком (о получении, восполнении того, что было затрачено)'. В этой сочетаемости обнаруживаются следы прежних смысловых связей и особого, ныне забытого терминологического значения слова *лихва*.

У лингвистов нет единого мнения о происхождении слова *лихва*. Одни исследователи считают его старым заимствованием из германских языков: ср. готское *leiþvan* 'ссужать, давать в долг, занимать'. Другие склоняются к тому, что слово это — образование на славянской почве от прилагательного *лихъ* 'лишний, остальной' с помощью суффикса *-в(а)*.

Эта точка зрения развивается в интересной статье Ф. П. Сороколетова «Из истории лексики (слова с корнем *лих-* в русских народных говорах и в литературном языке)» (сб. «Лексика русских народных говоров». М.—Л., 1966).

В древнерусском языке слово *лихва* широко использовалось для обозначения процентов, излишков при каких-либо денежных (ростовческих) оборотах. «Материалы для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского дают много примеров такого употребления слова в самых различных по жанру, содержанию и времени написания памятниках: «Не подобает причетникомъ скарядаго прибытка себе промышляти... лихвы великы їли малы взимати» (Рязанская кормчая. XIII в.). Широкоупотребительным было также сочетание терминологического характера *дать в лихву*, как и соотносительный с ним глагол *лихвовати* 'давать в рост'. Существительное *лихва* здесь было синонимом уже бытовавших в ту эпоху слов *наим* и *рост*.

Слово *лихва* обладало и другим, социально окрашенным значением — 'чрезмерные проценты, чрезмерная прибыль', в котором содержалось «неодобрительное отношение к этому явлению, взгляд на него как на нечто худое, недоброе, злое» (Ф. П. Сороколетов). Например: «И мирьскыи человекъ аще възимаетъ лихвы порок велик имать» (Рязанская кормчая. XIII в.); «Лихвы и мзды священникъ да не приемлетъ» (там же); «Лучши, братия, престанемъ отъ зла, лишимъ всѣхъ дѣлъ злыхъ: разбоа, грабленья... лихвы» (Поучение Серасиона Владимирского. Конец XIV в.). Этот же смысл имели производные

существительные *лихоимание*, *лихоименьник*, *лихоимьник*. Отсюда известное слово *лихоимец*.

Все названные значения у слова *лихва* и его производных сохраняются и в более позднее время. В XVIII веке — в период формирования русского литературного языка — слово это продолжает употребляться в терминологическом значении 'процент, излишек при денежных оборотах, росте', причем сохраняются его синонимические связи со словом *рост*. В том же значении употреблялось и существительное *свершки*: «Между тем же королю несколько тысяч рублей на некоторый заклад в Саксонии за достойные свершки в займы дать хотите» (Паткуев. Письмо Петру I, 1703). Синонимический ряд *лихва* — *рост* — *свершки* в начале XVIII века пополняется словом *процент*, пришедшим из немецкого языка от латинского *pro centum* 'за сто'. В том же смысле могло выступать и слово *интерес*. Так, в «Торге Амстердамском» (1762) читаем: «Почти во всех христианских государствах денежный интерес или рост установлен и определен до некоторой известной цены».

Обладая общим лексическим значением, слова этого синонимического ряда были употребительны в различной степени. Слово *лихва*, хотя и отмечено «Словарем Академии Российской» (1789) без пометы «старое», однако в текстах используется крайне редко. Нам оно встретилось лишь у А. Н. Радищева в юридическом трактате «Проект гражданского Уложения» (1800): «Лихва или проценты можно назвать все то, что должник должен давать заимодавцу за употребление его денег». Редким было и слово *свершки*, примеры употребления которого в наших материалах относятся лишь к началу XVIII века. «Словарем Академии Российской» это слово не отмечено.

Заемствованное из французского слово *интерес* в то время чаще выступало в более общих значениях 'польза, прибыль'. Наиболее употребительными в языке XVIII века были *рост* и *процент*. Так, *рост* мы находим в письме А. П. Сумарокова Шувалову: «Вседневныя претерпеваю нужды... на оставшия вещи закладывая их и платя великия росты лихоимцам, сыскиваю себе пищу» (15 ноября 1759). Употребляют его и Я. Б. Княжнин в комической опере «Скупой», В. И. Лукин в комедии «Мот», М. А. Матинский в комической опере «Санкт-Петербургский гостинный двор», известный мыслитель XVIII века Я. П. Козельский в «Философских предложениях» (1768).

Нет необходимости приводить примеры на знакомое нам слово *процент*, которое в языке XVIII века часто встречается в источниках делового и публицистического характера. Интересно отметить и некоторые сочетания-термины со словами *лихва*, *рост*, *процент*: дать в лихву; брать (отдать) в рост; отдать в проценты. Однако их активность в языке того времени была различной. Если в древнерусском сочетание *дать в лихву* было довольно употребительным, то в XVIII веке оно — явление крайне редкое. Ср. у Ломоносова: «В лихву дать серебро стыдится, мзды с невинных не берет» (Ода дух.). У Державина: «Сребра и злата не дал в лихву И с неповинных не брал мзды, Коварством не вводил в ловитву И не ковал ни чьей беды» (Эпитафия самому себе).

Не случайно, что в двуязычных словарях уже фигурируют лишь более употребительные сочетания: отдать в рост; отдать в проценты. В «Лексиконе Российском и Французском» (1762) сочетание *в рост отдаю* переводится выражением «je donne a interets». На немецкий язык в «Российском Лексиконе» Гелтергофа (1778) оно переводится «auf Wucher geben». Словарь Нордстета (1780) выражение *отдать в проценты* соотносит с сочетанием «Geld auf Renten ausgeben», а в Словаре Гейма (1797) немецкое выражение «sein Geld wuchern lassen» переводится как *отдать свои деньги в рост, в проценты*.

Во второй половине XVIII века встречаются и такие сочетания-термины, как *процентные деньги*, *ростовые деньги*: «С купеческих капиталов процентные деньги собираются в декабре каждого года» (Начальное основание вексельного права. 1768); «Я в ростовых деньгах нужды не имею, ибо могу еще жить от трудов своих» (Зеркало Света. 1786). [Однако прилагательное *лихвенный* в таком сочетании нами не зафиксировано. Оно употреблялось в ином значении (см. ниже).]

Итак, слово *лихва* в значении ‘прибыль, доход с отданного займа, процент, рост’ в XVIII веке употреблялось крайне редко. Однако в это время, как и в древнерусском языке, *лихва* и его производные широко использовались в другом значении — ‘беззаконная мзда, корысть, приобретаемая от давания денег или вещей в займы’ (Словарь Академии Российской. 1789). Вот один из многочисленных примеров этого времени: «Я знаю, что в некоторых местах позволено брать по десяти процентов со ста, но знаю и то... что ни по каким гражданским и нравственным законам

не будет позволено получать себе таковую непомерную прибыль в предъсуждении и на счет несчастных; лихва же входит в число сего порока» (Истинные прибыли отечества, 1770). Тесно связаны с этим значением и значения слов, производных от *лихва*.

Существительное *лихоимство* (Словарь Вейсмана 1731 года дает форму *лихвоимство*) могло выступать и в более широком значении, чем *лихва*: это не только 'чрезмерные проценты, прибыль от отданного займа', но и 'чрезмерные поборы' вообще. В указе Пугачева от 4 ноября 1774 года читаем: «Я сим, по данному мне всемилостивейше от ея и. в. над сими губерниями начальству, всякого года взятки и лихоимства всякаго звания начальникам и людям запрещаю».

Лихва и лихоимство расценивались в эпоху Екатерины II как уголовное преступление. Так, в «Уставе благочиния» (1782) было сказано: «Подтверждается запрещение учинить уголовное преступление противу общей народной торговли, как то... лихву... Буде кто учинит лихву, того отослать к суду». Борясь против лихвы и лихоимства как социального зла, разоряющего дворянство, Екатерина II издала в 1786 году манифест «Об учреждении Государственного заемного Банка». В этом манифесте говорится: «Возвышая сильное от нас пособие на обуздание лихвы... учреждаем к сохранению дворянского имения в их родах... новый заем денежный, именуя оный Государственным заемным Банком».

Существительное *лихоимец* (лихвоимец) наполнено глубоким обобщенно-социальным смыслом. В «Словаре Академии Российской» слово это определяется как 'ростовщик, мздоимец, корыстолюбец; кто берет лихву'. Несколько позже, в «Забавном Словаре к анекдотам пошехонцев» В. Березайского (1821) читаем: «Лихоимец — редкий охотник до сложения и умножения тех сумм, кои следуют ему в карман». В художественной литературе того времени, например в замечательных комедиях Сумарокова «Лихоимец», «Опекун», «Приданое обманом», образ лихоимца становится сильным сатирическим оружием, разоблачающим торгашей и грабителей-откупщиков.

К этому же кругу лексики относятся слова *лихоимствовать*, *лихоимственный*, *лихоимный*, *лихвенный*: «А особливо долженствует он [кригцаймейстер] себя предъостерегать, чтоб добрую манету... на худую и неходящую не обменять, не лихоимствовать, и в рост не отда-

вать...» (Устав воинский. 1716); «[Парменон]: Деньги ваши у етова почтеннаго купца и без лихоимственнаго росту стали почти полумиллионом» (Сумароков. Ядовитый); «В коллегіум таком не обретається место пристрастію, коварству, лихоимному суду» (Духовный регламент. 1721).

Ср. более позднее употребление прилагательного *лихвенный* в комедии А. Н. Островского «Пучина», в речи чиновника Переяркова: «Уж ты судился за лихвенные проценты». Интересно отметить, что в книге Л. Шехмейстера «Коммерческая терминология. Полный словарь специально-коммерческих слов и выражений» (СПб., 1915) сочетание *лихвенные проценты* помещено как термин и определяется так: «проценты, взимаемые за ссуду денег, в размере, превышающем законом дозволенную норму; взимание лихвенных процентов составляет законом наказуемый уголовный проступок».

Существительное *лихва* и его производные сопровождаются в речи ярко выраженной отрицательно-оценочной экспрессией, которая часто подчеркивается окружающими словами. Характерны, например, сочетания: вредная лихва, гнусная лихва, скаредный лихоимец, бессовестный лихоимец и т. п. *Гнусная лихва* противопоставляется *законному росту*: «Положив торжественно сию меру законному росту запрещаем гнусную лихву» (Манифест. 28 июня 1786). Отрицательно-оценочным может быть и весь контекст в целом: «[Клара]: А Кащя, едакова смраднава человека, хулюю не исправишь, виселица ему Сатира; Лихоимец, гордостью наполнен, клеветник, смутник, мучитель» (Сумароков. Лихоимец). Слово *лихва* в этом значении было еще живо в русском языке на всем протяжении XIX века.

Итак, существительное *лихва* и его производные бытовали в русском языке с древнейших времен и имели несколько значений. Одни из этих значений связаны с юридической терминологией. Первое из них — ‘прибыль, доход с отданного займа, процент’ (в нейтральном употреблении). Это значение было, вероятно, более древним; в XVIII веке, как мы видели, оно было уже очень редким. Однако оно не забыто и, войдя в разряд архаизмов, используется в художественной литературе: «Отец Виталий, несмотря на монашеский обет, был сребролюбив. Он копил деньжонки и давал по мелочам в „заимобраз“, до получки жалованья, и с небольшой лихвой» (Станюкович. Васи-

лий Иванович); «Московский торговый люд нес неумолимому сборщику пошлины последние гроши. Но в то же время все знали, что если Василия попросить, то он живо откликнется — даст денег в долг и не то, что совсем не возьмет лихвы, но все-таки даст под божеский рост и не заставит разориться» (Злобин. Степан Разин).

Второе значение — ‘чрезмерные проценты, чрезмерная прибыль’ (с экспрессивной отрицательно-оценочной характеристикой). Слово *лихва* в этом значении было употребительным в русском языке на всем протяжении XIX века. С уходом в прошлое быта и общественных отношений старой России это значение также вышло из активного употребления, но сохранилось, как и первое, в пассивном запасе языка. Интересен такой факт. В 1964 году газета «Комсомольская правда» провела лингвистический эксперимент — опрос детей: «Тысяча детей о пятидесяти словах». Среди других в анкете было предложено и слово *лихоимец*. Смысла его ребята не знали.

Кроме отмеченных терминологических значений, слово *лихва* получило и третье, более общее, «бытовое» значение — ‘прибыль, избыток, излишек’. Любопытен пример, встретившийся нам в художественной речи XIX века: «Возвращаются домой [нищоброды] всякий раз с лошадкой, а самым ловким удастся выменять не одну и с хорошей лихвой продать в своих местах доброго „битюка“ какому-нибудь охотнику из городских купцов» (Максимов. Бродячая Русь). Это же значение слова *лихва* упомянуто и в «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847). Однако в дальнейшем значение ‘избыток, излишек’ реализовалось лишь в выражении *с лихвой*, с которого мы и начали статью и к которому возвращаемся.

Сами слова, сочетающиеся с выражением *с лихвой*, указывают на терминологическую область его применения. Это глаголы *взять, возвращать, вернуть, получить*, обозначающие действия, характерные для финансовых операций, и существительные в винительном падеже без предлога — названия денег, платежей («[Бертольд]: Тогда... я возвращу тебе с лихвой... все суммы, которые занял у тебя» (Пушкин. Сцены из рыцарских времен); «Работаю порядочно и с лихвой вернул расходы на поездку» (Чехов. Письма); «Она [Америка] будет снимать сливки и получать проценты с лихвой за свою помощь во время войны» (Ленин. Доклад на II съезде коммунистических организаций народов Востока. 22 ноября 1919).

Глаголы, употребляющиеся с данными сочетаниями, здесь чаще всего связаны с терминологической сферой слова *лихва* (возвратить, окупиться, компенсироваться) и указывают на смысловое ограничение фразеологизма. Однако имена существительные обозначают уже понятия, которые не относятся к узкой терминологической финансово-деловой сфере.

Кроме того, фразеологизм с *лихвой* имеет и самое общее «бытовое» значение 'с избытком, излишком', утратившее всякую связь с терминологическим значением *лихва*. Это значение, по-видимому, появилось в языке позднее. В материалах древнерусского периода и даже XVIII века оно нам не встретилось. Вот некоторые примеры его употребления в языке XIX века: «Я с лихвою наказан за это самим собою» (Белинский. Письма); «Какая бездна поэзии в „Онегине“. Я не заблуждаюсь, я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, чело вечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки» (П. И. Чайковский. Письмо М. И. Чайковскому, 18 мая 1877). См. также пример из стихотворения В. Замятина, приведенный в начале статьи.

Перечисленные смысловые оттенки фразеологизма с *лихвой* связаны со стилистическими различиями в его современном употреблении. В тех случаях, где выражение с *лихвой* употреблено в «бытовом» значении, оно характеризуется разговорной окраской. Когда в его значении ощущается связь с терминологическим значением слова *лихва* (на это указывает сочетаемость), фразеологизм с *лихвой* выступает в другой стилистической сфере — в книжной речи. Регулярное употребление с глаголами *вознаградиться*, *компенсироваться*, *окупаться* и т. п. превратило его в штамп этой речи. Такая смысловая и стилистическая дифференциация не нашла еще полного отражения в словарях современного языка, где указана лишь одна из сфер употребления сочетания с *лихвой*.

К. П. СМОЛИНА

ВСЕГДА ЛИ НАКАЗАНИЕ БЫЛО «НАКАЗАНИЕМ»?

«Егда доума«ши, помысли о прежде бывшихъ и приложи она къ нощъшнимъ» (Размышляя, подумай о бывшем ранее и сравни его с теперешним).

Пчела (конец XIV в.)



истории каждого слова так или иначе отразилась какая-то из сторон жизни людей — их обычаев, взглядов, навыков, настроений. Поэтому знакомство с историей слова всегда есть узнавание того, какими были наши предки, как они жили, что думали.

Возьмем слово *наказание*. Это слово нашего языка вызывает интерес прежде всего тем, что оно оторвалось от своих родственников по корню.

В современном русском литературном языке оно означает 'меру воздействия против того, кто совершил проступок или преступление' иначе говоря *наказание* — значит 'кара'. Однако в других словах, однокоренных со словами *наказание*, — *сказать, показать, сказание, показание, сказка, показ, приказ, указ*, даже *наказ* — нет никакого намека на 'кару'. Естественно допустить, что такой разрыв между родственными словами был не всегда.

Первоначально слово *наказание* имело другой смысл. Оно означало 'учение, наставление, вразумление' и достигалось не «мерами воздействия», а прежде всего, как можно судить по значению корня, 'сказыванием' (говорением, наставлением) и 'показом', примером со стороны того, кто *наказывал*. Соответственно этому, *наказати* значило 'учить, наставлять'; *наказатель* — 'учитель, наставник'; *наказаникъ* — 'ученикъ': «мнѣ своему чаду и наказанику» (Григорий Богослов. XIV в.).

О НАКАЗАНИИ ДЕТЕЙ



Главная забота каждого поколения — воспитание детей. Так было и в древности. И разница тут не в существе дела, а в изменившемся значении отдельных слов. Теперь мы говорим *воспитатель*, имея в виду того, кто руководит духовным развитием ребенка. Но корень слова *питати* показывает, что так было не всегда: *питатель*, *воспитатель* первоначально значило 'кормилец'. В Прологе 1383 года говорит-

ся о некоей Анфисе, которая многим сиротам была вместо матери, «ибо помѣтаемы дѣти собираше, питающи наказаше» (ибо собирала брошенных детей, кормила (их) учила).

Не случайно учитель с педагогическим образованием, работающий в детском доме или в детском саду, называется у нас *воспитатель*, так как в его обязанности входит также и забота о питании, сне, прогулках, здоровье детей. Здесь есть прямая связь с древним пониманием этого слова. Что касается 'учения, воспитания' в самом широком смысле, то его осуществлял *наставник*, *учитель*, *наказатель*.

Первым *наказателем* детей должен быть отец. Древний автор был в этом вопросе достаточно категоричен: «Идѣже дѣтии не наказаютъ дѣлоудрію и законѣнымъ вѣщемъ, то не оци соутъ, но дѣтоубийци и поущѣше ихъ,

зане оубиица смрти предавает тѣло, а они дшю» (Когда же детей не учат целомудрию и обязательным вещам, то это не отцы, а детоубийцы. И даже хуже, потому что убийца убивает тело, а эти — душу) — Пчела.

Приведем несколько советов родителям из сборника «Пчела» по списку конца XIV века: «Тѣснися дѣти оставити наказаны, нежели бгаты» (Стремись оставить детей обученными, нежели богатыми); «Дѣти же ихъ первое оучение оучать иже истинуо глти» (Первое, чему учат детей, — говорить правду).

Учить и воспитывать человека нужно с малых лет. Эта истина так же стара, как старо человечество: «Учи дитя, пока поперек лавки лежит (т. е. настолько мал, что его можно положить поперек лавки), — говорит народная поговорка, — когда вдоль ляжет — не научишь». О том же говорится в древних книгах. «Яко же печать прилѣпляется къ макъхкоу воскоу такоже и оучение мудрыхъ въ младыхъ дѣтии образується» (Как печать отпечатывается в мягком воске, так и учение мудрых в малых детях оставляет след); «Яко же мертвеца не изличити, тако и старого не можеши наказати» (Как мертвеца не вылечить, так и старого не выучить).

О САМОНАКАЗАНИИ

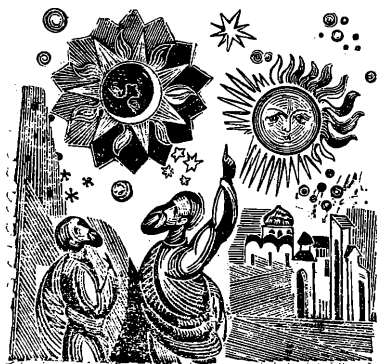


В полном соответствии с современным смыслом слова *наказать* в нашем языке нет возвратной пары к этому глаголу: нельзя *наказаться*, хоть и можно *наказать себя*. Поскольку в древнерусском языке *наказати* значило 'учить', то было и *наказатися* 'учиться': «Видѣвъ инѣхъ зло наказися самъ» (Сборник изречений Менаандра. XIV в.).

Часто древние изречения проникнуты добродушным юмором — свидетельством глубокого ума и тонкого понимания человеческой природы: «Съ (въ)просимъ како может члвкъ самъ ся наказати; и отвѣща. аще имъ же

запрѣщаетъ инѣмъ, тѣмъ же и собѣ запрѣщаетъ» (Некто, будучи спрошен: «Как может человек воспитывать сам себя?», ответил: «Что другим запрещает, то же пусть запрещает и себе») — Пчела; «Все есмы хитри наказати, а сами не вѣмъ, что сътворимъ» (Все мы мастера поучать, только о себе не знаем, как поступим) — Пчела; «Нелѣпо наказаному съ ненаказанными бесѣдовати, тако же ни трезву съ пьянымъ» (Плохо умному с глупым разговаривать, так же, как и трезвому с пьяным) — Пчела; «Лѣпши слышати прѣние умныхъ, нежели безумныхъ наказание» (Лучше слушать возражение умных, чем советы глупцов) — Слово Даниила Заточника.

ЧЕМУ НАКАЗЫВАЛИ



Древнерусское слово *наказание* имело самый широкий смысл. Это не было только обучение какому-либо ремеслу, делу. Сюда входила и общая образованность, и правила поведения, «яко же быс обычай» (как того требовал обычай, как было принято): «слово и шествование» (как ходить и говорить), «одежами облечение» (как одеваться), «образъ сѣданью и стоянью» (как сидеть и стоять) — Хроника Георгия Амартола, XIII—XIV вв. Сюда же входило и «наказание книжное»:

«И речѣ оучитель къ отцоу его [И сказал учитель его отцу]: приведи его въ наказание. и аз наоучю его книгамъ» (Евангелие Фомы. XIV в.).

В переводном памятнике XII века об Александре Македонском говорится: «И наоученъ быо Александр всакому наказанию и звѣдозаконому [астрономии]». Только о всесторонне образованном и культурном человеке древний писатель мог сказать: «и наказати быс всякому наказанию» (об Иоанне Дамаскине. Лобковский пролог. XIII в.).

КАК НАКАЗЫВАЛИ



Наказывая, то есть 'уча, наставляя, воспитывая', не надо гневаться, впадать в ярость: как же можно вразумить другого, если сам ведешь себя неразумно? Учит ведь не только смысл слов, но и то, как ты их произносишь: «Оуне есть наказати, нежели поносити. ово бо есть кротко и любо, ово жестко, сим же исправливають съгрѣшающе, а овѣма токмо обличаются» (Лучше научить, чем ругать, Первое — кротко и любо, второе — жестоко; первое исправляет ошибаю-

щихся, второе оскорбляет) — Пчела.

Конечно, не только словом можно было 'научить, наставить, вразумить'. Как говорит Григорий Назианзин, сочинения которого на Руси знали в переводе с греческого, «овы бо наказаетъ слово, а друзии наставляются притчею» (одних учит слово, других — пример) — XI век. 'Наставлению, научению' третьих помогала «палица»: «Иже падить жезлъ ненавидить своѣго сна, а любия прилѣжно наказаетъ» (Кто жалеет палку, тот ненавидит своего сына, а кто любит, тот усердно учит) — Пандекты Никона Черногорца (перевод с греческого. 1296). Таким образом 'поучение' и 'наказание' оказались тесно связанными.

В этой связи интересно выражение «божие наказание». Каким был его первоначальный смысл — 'назидание божие' или 'божия кара'?

...Летопись под 1019 годом. Святополк ведет на Русь неченегов. Тот самый Святополк, который убил братьев Бориса и Глеба, чем заслужил себе вечное проклятие соотечественников и название «окаянный». Против него выступил Ярослав. «И бысть съча зла, яка же не была в Руси». К вечеру одолел Ярослав. Святополк бежал, «гоним божьим гневом». Есть могила его «и до сего дне исходитъ же отъ нея смрадъ золь [зловоние]. Се же богъ показа на наказанье княземъ Русьскимъ». Итак, *на наказанье* — не 'в наказанье', а 'в назидание', чтобы впредь никто из кня-

зей не поступал так, как Святополк. Чаще 'божие назидание' совпадает с 'божьей карой'. «Тако и сия люди Новгородскыя наказа -Бъ», — пишет летописец о страшном разорении Новгорода в 1169 году. Однако это — кара лишь с нашей точки зрения. По христианским понятиям, смерть, землетрясения, войны, голод бог посылал людям «по дѣлом ихъ», с целью исправить, наставить на путь истинный: «Бъ ...не глть усты, но дѣлы наказаетъ» (Бог не говорит устами, а делами учит) — Серапион Владимирский. XIII в.

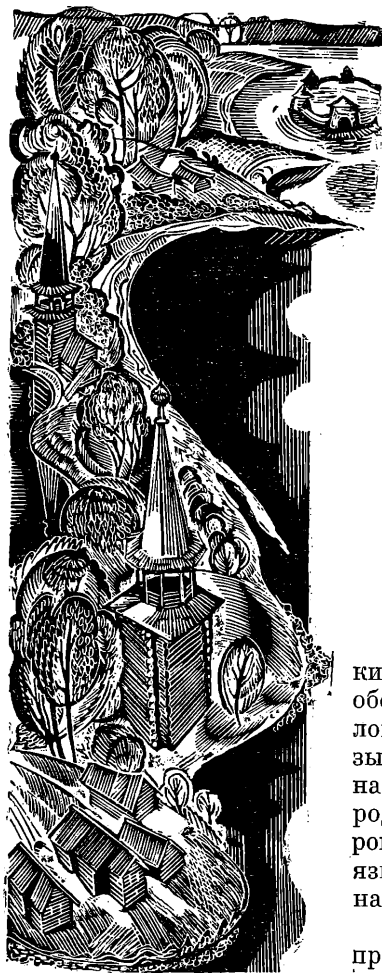
Теперь можно точнее определить значение древнерусского слова *наказание*. Общий смысл его — 'научение, назидание, воспитание', независимо от того, достигалось оно тихой беседой или жестоким наказанием. Смысл был в самом результате, а не в средствах. Сравните: «Ныне уже не услышу тихаго твоего наказания» (Плач Глеба о Борисе, летопись под 1015 г.), но: «Не биенъ моужь, не кажетъс а николиже» (Не битый — значит не наученый) — Менаандр. XIV в.

Такое заключение не удивит нас, если учесть, что и в наше время в деле воспитания, особенно детей, применяются оба метода — и вразумление и наказание. Сравните современные слова *учить* и *проучить*: первое значит 'учить', а второе — 'наказать': «проучить кого-л.».

Эти два смысла — 'учение' и 'наказание', объединенные в одном слове, со временем разошлись. Основным стало 'наказание'. Это изменение произошло во всем гнезде. Что касается глаголов *наказать*, *наказывать*, то у них развилось и особое управление, невозможное при первоначальном значении слова. Если раньше было *наказати чему-либо*: «наказати цѣломудрию», то теперь стало *наказати за что-либо*, *наказати чем-либо*. Новый смысл закрепился грамматически.

На протяжении XVI века, насколько можно судить по памятникам письменности, *наказание* в значении 'учение, наставление' почти перестает употребляться, однако не исчезает совершенно. Следы его сохраняются и теперь. Один из них тесно связан со значением *наказать* 'научить: сказать, как поступить, что сделать': «Мать наказала никуда не отлучаться». Другой — в самой сути, смысле наказания: перестав быть учением, *наказание* в отличие от *кары* должно иметь своей целью все то же учение — в его самом широком понимании.

Н. В. ЧУРМАЕВА



Финно- угорские языки

Название «финно-угорские языки» вошло в научный оборот еще в середине прошлого столетия: так стали называть по этнонимам двух наиболее многочисленных народов, финнов и венгров (угров), все родственные им языки и народы, говорящие на этих языках.

Прародиной финно-угров принято считать Волго-Камье. На севере эта территория достигала истоков Печоры, на юге она простиралась до устья Белой, на западе — до Оки, на востоке — до мест, прилегающих с востока к Уральскому хребту. Современная территория распространения финно-угорских языков обширнее, нежели она была в древности. Расширение ее происходило вследствие постепенного распада древней общности, называемой уральской, куда, кроме финно-угорских, входят еще самодийские языки. Ученые полагают,

что распад финно-угорского праязыка, состоявшего из многих близких племенных диалектов, произошел 4—5 тысяч лет назад.

Живые финно-угорские языки распределяются по следующим пяти подгруппам: 1) прибалтийско-финская (финский, эстонский, карельский; вепсский, ижорский, водский и ливский языки), 2) угорская (венгерский, хантыйский и мансийский), 3) пермская (коми-зырянский, коми-пермяцкий и удмуртский), 4) волжская (мордовский: эрзянский и мокшанский и два марийских языка: лугово-восточный и горномарийский), 5) саамская. К исчезнувшим языкам относят мецкерский, муромский и мерянский. Последний, по мнению большинства ученых, был близкородственным марийскому. Выделение таких подгрупп объясняется длительными взаимосвязями носителей этих языков после распада древней финно-угорской языковой общности.

На протяжении своей истории финно-угорские языки контактировали с языками различных генеалогических систем, о чем свидетельствуют следы, сохранившиеся в их современной лексике и грамматике. Так, в прибалтийско-финских языках обнаруживаются балтийские, германские, скандинавские и славянские слова, в волжских языках имеются иранские, татарские, русские заимствования, в венгерском — иранские, болгарские, тюркские, славянские, немецкие элементы и т. д.

Контакты оставили свой след не только в лексике, но и в грамматике. Марийский язык, например, перенял из тюркских несколько словообразующих суффиксов и показатель множественного числа. Конечно, влияние не было односторонним, финно-угорские языки также оставили следы в индоевропейских и тюркских. В чувашский проникли марийские слова, в западно- и южно-славянские — венгерские, в севернорусские говоры — слова прибалтийско-финских языков, главным образом вепсского и карельского.

В Советском Союзе представлены все финно-угорские языки, причем большинство их носителей образует национальные единства только в СССР. Финны и венгры имеют самостоятельные национальные государства, саамы разбросаны по северу Финляндии, Швеции и Норвегии.

Финно-угорские народы Советского Союза проживают в основном в следующих национальных республиках и округах: эстонцы — Эстонская ССР, мордва — Мордовская

АССР, мари́йцы — Мари́йская АССР, удмурты — Удму́ртская АССР, коми — Коми АССР и Коми-пе́рмский нацио́нальный округ Пе́рмской о́бласти, карелы — Каре́льская АССР, ханты и манси — Ханты-Ма́нсийский нацио́нальный округ Тюме́нской о́бласти. Однако некоторые финно-угорские народы настолько малочисленны, что не имеют своей национальной государственности или автономии. Часть вепсов и финнов Советского Союза входит в состав Карелии, саамы — в Мурманскую область, ижорцы и водь — в Ленинградскую область, ливы — в Латвию...

Пользоваться письменностью из всех финно-угорских народов раньше других начали венгры. Венгерская письменность на латинице с некоторыми дополнительными буквами для изображения специфических венгерских звуков известна с конца XII века. Письменность на финском и эстонском языках, также основанная на латинице, появилась в XVI веке. Создателем финской письменности считают епископа М. Агриколу, а создатели венгерской и эстонской письменности неизвестны. В XVI веке для предков современных коми священником Стефаном Пермским была создана древнепермская письменность на основе греческого и славяно-русского алфавитов. После смерти создателя (1395 г.) она через 2—3 столетия была предана забвению и в XVII веке заменена славяно-русской. При раскопках древнего Новгорода были найдены впервые два карельских текста XIII века в полтора десятка слов. О судьбе древней карельской письменности науке более ничего не известно. Письменность на мари́йском, мордовском и удмуртском языках появилась лишь в XVIII веке, ханты́йский и ма́нсийский языки получили письменность только после Великой Октябрьской социалистической революции.

С победой Октябрьской революции у финно-угорских языков Советского Союза появились все условия для бурного расцвета литературных языков, чему способствовала деятельность национальных ученых, поэтов, писателей и журналистов.

Финно-угорские языки по своей структуре относятся к агглютинативным с некоторыми элементами появившейся позднее флективности. Прибалтийско-финские и особенно саамский языки в силу сложившихся исторических условий имеют больше элементов флективности, чем другие финно-угорские.

Характерной чертой финно-угорских языков в области фонетики является гармония гласных, хорошо представленная в угорских, волжских и прибалтийско-финских языках, кроме эстонского. Сущность гармонии гласных заключается в уподоблении звукового состава не первого слога слова звуковому составу первого слога как основы, так и суффиксов.

Гармония гласных бывает двух видов: по ряду и участию губ, то есть палатальная и лабиальная. Первый вид гармонии характерен для прибалтийско-финских, второй — для венгерского и марийского. Наиболее полно сингармонизм выступает в мордовском. В результате действия закона сингармонизма в соответствующих финно-угорских языках формообразующие и словообразующие суффиксы выступают в двух или трех фонетических вариантах: финское *talo* 'дом' — *talossa* 'в доме', *Käte* 'рука' — *kädessä* 'в руке', марийское *корно* 'дорога' — *корнышто* 'в дороге', *пöрт* 'дом' — *пöргышто* 'в доме', эрзя-мордовское *сур* 'палец' — *сурт* 'пальцы', *карь* 'лапоть' — *карьть* 'лапти.'

Большинство финно-угорских языков сохраняет ряд древних свойств языка-основы — преобладание глухих согласных и полное отсутствие скопления согласных в начале слова, если не считать отдельных исключений, возникших позднее в результате выпадения гласных, а также поздних заимствований и звукоподражательных слов: марийское *устел* < русское *стол*, финское *гаја* < русское *край*. Финно-угорским языкам свойственно широкое употребление сонорных, но почти полное отсутствие губно-зубного *ф*: марийское *шонго* 'старый', эрзя-мордовское *панго* 'гриб', финское *kangas* 'ткань', марийское Пёкла < русское Фёкла. Середина и конец финно-угорского слова богаче разнообразием согласных, чем начало слова. В начале слова некоторые согласные не встречаются, тогда как в других позициях они входят в фонемный состав многих финно-угорских языков.

Таким образом, для фонетической структуры слова современных финно-угорских языков (а праязыка тем более) характерна большая численность взрывных, разнообразие фрикативных фонем, отсутствие скопления согласных в начале слова. Предполагается, что в финно-угорском праязыке большинство слов состояло из двух слогов и все они оканчивались только на гласный звук. По мнению большинства ученых, ударение в финно-угорском слове, как

в современных прибалтийско-финских, в венгерском и мансийском языках, падало на первый слог слова и было по своей природе силовым.

Морфологическая структура финно-угорских языков характеризуется хорошо развитым словообразованием и формообразованием. Все словообразующие и формообразующие морфемы в них следуют за корнем слова. Причем словообразующие суффиксы обычно предшествуют формообразующим, если не считать единичных исключений, вроде марийского суффикса сравнительной степени в наречиях, который может быть как перед словообразующим суффиксом, так и после него: сай — 'хороший', сайын — 'хорошо', сайынак или сайракын 'лучше'. Подобное явление встречается также в венгерском языке: kedves 'приветливый', kedvesen 'приветливо, kedvesebben 'приветливее'.

Префиксов в большинстве современных финно-угорских нет, как не было их в языке-основе. Словообразование поэтому в основном осуществляется путем суффиксации и словосложения. Весьма характерной особенностью финно-угорских языков является наличие в них большого количества сложных словообразующих суффиксов; в марийском суффикс *-лдал*, образующий уменьшительно-ласкательные глаголы, состоит из сочетания простых суффиксов *-л-д-ал* с тем же значением: *шупшеш* 'тянет' — *шупшыл-далеш* 'потягивает'.

Агглютинативный строй финно-угорских языков способствует, очевидно, легкому превращению последней полнозначной части сложного слова в словообразующий формант: коми *няньтор* 'хлебец' (буквально 'хлебный кусок'), где *тор* 'кусок', эрзя-мордовское *чоподачи* 'темнота' (буквально 'темный день'), где *чи* 'день'.

Считается, что в финно-угорском праязыке одни и те же суффиксы образовывали как глаголы, так и имена, они были материально общими и для глаголов и для имен. Не менее характерна особенность финно-угорских языков — обилие глагольных суффиксов видового и залогового значения, большинство из которых не дошло до полного категориального обобщения. В отличие от русского языка, где категория глагольного вида характеризуется совершенностью и несовершенностью действия, в финно-угорских суффиксы видового значения противопоставляются по количественному признаку: выражению однократности и многократности, кратковременности и продолжительности, начинательности и рассредоточенности действия.

Словосложение в финно-угорских языках в основном характерно для образования имен существительных. Наиболее древний и распространенный способ образования сложных существительных — простое соположение основ без всякого морфологического изменения, а также образование так называемых парных слов.

К одной из общих черт современных финно-угорских языков относится наличие в них категориально недифференцированных слов, что отражает, по-видимому, древнюю особенность языка-основы: марийское *шокишо* 'холод, холодный, холодно', *волгыдо* 'свет, светлый, светло', венгерское *les* 'засада, караулит' и т. д.

В большинстве финно-угорских языков нет особой формы для выражения будущего времени. Будущее действие выражается той же формой, что и действие в настоящем времени. Во всех финно-угорских глаголы изменяются по трем лицам и в большинстве из них — по двум числам: единственному и множественному. Исключение составляют некоторые саамские диалекты и обско-угорские языки, в которых, кроме указанных двух чисел, имеется еще двойственное, сохранившееся как пережиток древности. В абсолютном большинстве финно-угорских языков при образовании отрицательных форм глагола личные окончания принимает отрицание, предшествующее основному глаголу, а последний используется в неизменяемой форме. В мордовском и угорских языках имеются также формы безобъектного и объектного спряжений. Для употребления формы объектного спряжения необходимо наличие у глагола определенного прямого дополнения.

Большинству финно-угорских языков свойственна многопадежность: в эстонском языке 14 падежей; удмуртском, финском — 15, коми языке — 16, а в венгерском — даже 22. Только в обско-угорских языках их немного: хантыйском — 3, мансийском — 6. Падежные окончания как в единственном, так и во множественном числе в основном одни и те же. Именам существительным свойственна категория притяжательности, выражающая принадлежность предмета какому-нибудь лицу или предмету при помощи особого притяжательного суффикса для каждого лица: марийское *кид* 'рука', *кидем* 'рука моя', *кидет* 'рука твоя', *кидше* 'рука его' и т. д. В соответствии с этим, в отличие от индоевропейских языков, финно-угорские при одних и тех же падежных окончаниях различают два вида склоне-

ния существительных: основное и притяжательное. Категория грамматического рода совершенно отсутствует.

В некоторых языках, например марийском, одушевленные существительные принимают только формы субъектно-объектных падежей, а вопрос «кто?» ставится лишь к существительным, обозначающим людей; ко всем остальным существительным, как неодушевленным, так и одушевленным, обозначающим животных, птиц, рыб и т. д., ставится вопрос «что?». Например: «Гиде мо?» (Это что?); «Гиде ушкал» (Это корова).

Прилагательные и числительные в большинстве финно-угорских изменяются лишь при употреблении их в роли существительных или в качестве постпозитивных определений. Среди служебных частей речи отсутствуют предлоги, вместо них употребляются послелоги: марийское *школ деке* 'к школе', финское *minun luo* 'ко мне'. Предлоги главным образом в прибалтийско-финских и артикли в венгерском возникли под влиянием индоевропейских языков.

Современный синтаксис также сохранил ряд древних специфических особенностей. Так, личное оформление глаголов предельно четко, поэтому подлежащее, выраженное личным местоимением первых двух лиц, может быть опущено: марийское *тольым*, финское *tulin* 'я пришел' вместо *мый тольым*, *minä tulin* 'я пришел' (буквально 'я пришел я'). Как правило, финно-угорские языки не знают глагола со значением 'иметь', вместо него употребляется глагол со значением 'быть'. Подлежащее и сказуемое согласуются только в числе и лице.

Определение с определяемым словом не согласуется, такое согласование развито только в прибалтийско-финских под влиянием других языков. При определении, выраженном числительным, определяемое в ряде финно-угорских языков, как правило, выступает в единственном числе: марийское *Кок книга* 'две книги', *кум книга* 'три книги', *вич книга* 'пять книг'.

Характерны для финно-угорских языков простые и сложносочиненные предложения: сложноподчиненные возникли поздно, и как правило, под влиянием индоевропейских языков. Порядок слов довольно строг, хотя в современном их состоянии имеются большие отклонения, особенно в прибалтийско-финских. Обычна следующая структура простого предложения: определение, подлежащее, обстоятельства, глагольное сказуемое, то есть ска-

зуемое всегда имеет тягу к концу простого предложения. В прибалтийско-финских структура предложения претерпела влияние балтийских, германских и скандинавских языков.

Из области лексики финно-угорские языки сохранили несколько сот древних общих корней. Одна из черт — употребление названий парных предметов в единственном числе, где каждая из частей пары осмысливается как половина целого: марийское *шинча* 'глаз, глаза', *пел шинча* 'один глаз' (буквально 'половина глаза'), *кид* 'рука, руки', *пел кид* 'одна рука' (буквально 'половина руки').

Несомненно, что те сотни и тысячи лет, которые отделяют нас от распада финно-угорской языковой общности, наложили отпечаток на современные языки и способствовали углублению различий в них как со стороны лексики, так и в грамматической структуре. Одни различия появились в процессе изменения внутренних закономерностей отдельных языков, другие навеяны различными неродственными языками, с которыми те или другие контактировали: индоевропейскими, иранскими, тюркскими. Исследованием как общих, так и отличительных черт финно-угорских языков успешно занимаются ученые не только Советского Союза, но и за рубежом.

Доктор филологических наук,
профессор И. С. ГАЛКИН
Йошкар-Ола



19 мая. Росеник — росы распустил. При посеве гороха причитали: «Сею, сею бел горох. Уродился мой горох и крупен и бел и сам тридесят».

24 мая. Мокеев день. Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее.

25 мая. Епифанов день. Коли на Епифана утро в красном кафтане — к пожарному лету.

27 мая. Сидоров день — мнуют сидоры, пройдут и сиверы.



Чудское наследие

Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых...

А. Блок

Бескрайни просторы русского Севера — древней Двинской Земли или Заволочья новгородских ушкуйников: от Онеги до Мезени, от Белого моря до Присухонья раскинулся Север, да так широко, что уместилась бы здесь вся Франция — самое большое из западноевропейских государств. Север — настоящая сокровищница русской древности, самобытный и заповедный край, где все дышит стариной: на века поставленные дома, бесценные рукописные книги и народная одежда, песни и сказания, праздники и обычаи...

И тем поразительнее звучат непонятные, явно нерусские по происхождению местные названия, буквально наводняющие Север и в большинстве своем куда более древние, чем былины и рукописные книги: Вологда,

Ихальнема, Кема, Кочевар, Майманга, Нёвлой, Пукаранда, Хяргокор, Чучепала и тысячи других. А в русских говорах нет-нет да и встретится какое-нибудь заимствованное из древних языков словечко вроде *пентус* 'заболоченный луг' или *чёлма* 'пролив'. Значит, до русских здесь кто-то жил? Трудно заставить говорить «язык земли» — топонимику, но если это удастся, можно узнать многое: русские действительно восприняли на Севере от своих предшественников интересное и ценное наследие.

По историческим данным доподлинно известно, что на Север русские проникли очень давно: древнему Белозерску исполнилось 1100 лет! Но особенно быстро Север осваивается с XII века. Именно в это время впервые упомянут в летописях погост Кегроль (ныне большое село Кеврола) — форпост русского влияния в дальнем северо-восточном Заволочье (так издавна назывались новгородские владения «за волоками», которыми связывались река Шексна и Белое озеро — бассейн Волги — с реками и озерами бассейнов Онеги и Северной Двины).

Однако русские пришли сюда не на пустые земли. На Севере они встретились с древним нерусским населением, летописной Чудью Заволочской. Вряд ли стоит утверждать, что русские и чудь всегда легко находили общий язык. Предания рассказывают и о кровавых столкновениях. Есть в бассейне Пинеги река с банальным названием Мысовая, но местные жители из села Суры рассказывают, что эта река еще недавно называлась Поганец: в нее некогда были брошены тела «поганых» чудинов (язычников) после великой сечи между новгородцами и местным чудским племенем, которое русские летописи так и называли Сурой Поганою. А кое-где на Севере и в наши дни светловолосый и голубоглазый русич может незлобно сказать о своем соседе, таком же исконном северянине: «Он-то ведь из чуди, а я — новгородец». Кто знает, сколько лет — 500 или 1000 — прошло с тех пор, как встретились, мирно или немирно, их предки, а до сих пор живут предания...

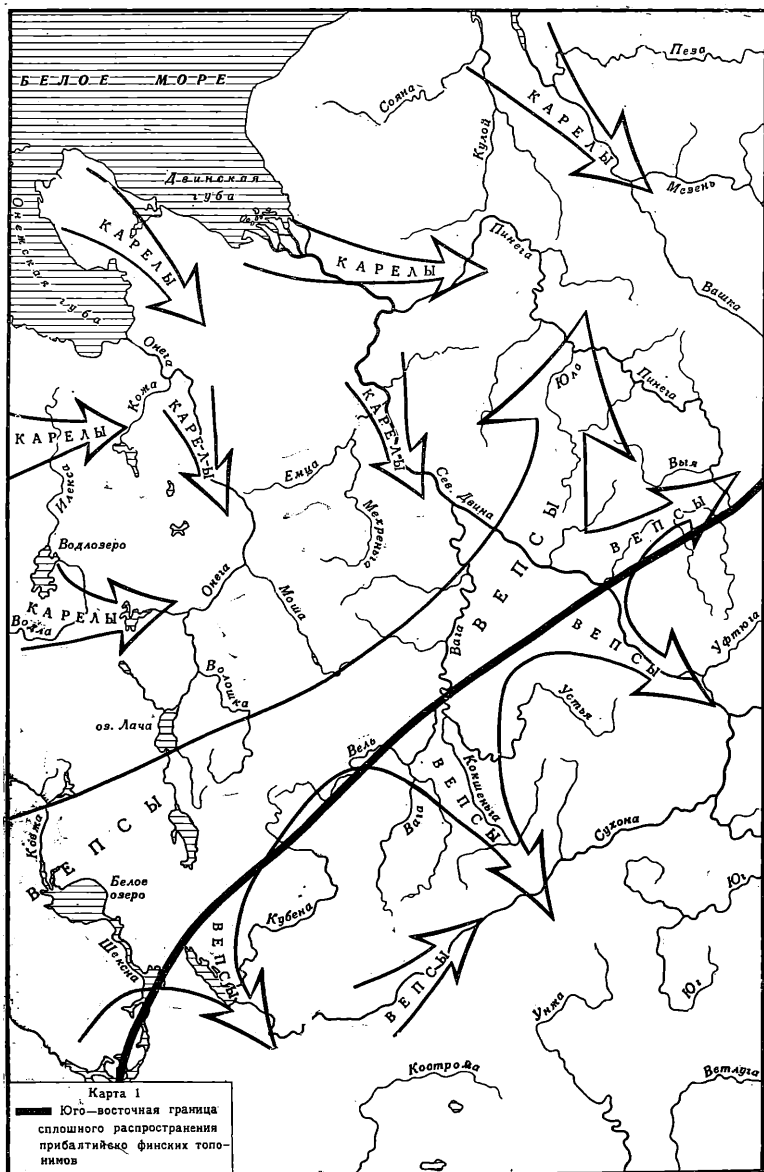
Но, видно, не с огнем и мечом пришел русский народ на Север — долгие годы мирно сосуществовали русские и чудские поселения, вместе бились русские и чудины со шведом и немцем, с монголами и татарами. А иначе и не понять, как могла сохраниться столь богатая чудская топонимика на Севере, где уже засвидетельствовано более 20 тысяч чудских названий, хотя работа по сбору чудской

топонимики только начата. Усвоение множества древних иноязычных названий — первый признак медленного бескровного обрусения, которое продолжалось несколько веков... Поступь истории была неотвратима: с течением времени чужд исчезла, смешалась с более многочисленным, экономически и культурно более развитым русским населением, обрусела. А в русском языке как вечный памятник чужди сохранились тысячи загадочных слов.

Изучение этих слов позволило узнать, что представляла собою таинственная Чудь Заволочская. И прежде всего оказалось, что Чудь Заволочская — понятие географическое, что на Севере обитали разные чудские, или, как теперь их называют, финно-угорские племена.

Наиболее поздним чудским населением на Севере было прибалтийско-финское — карельское и вепское. Карелы проникали сюда с запада, из Карелии, и по большим рекам — Онеге, Северной Двине, Пинеге, Мезени, поднимаясь с устьев к верховьям рек; вепсы продвигались из Белозерского края на северо-восток по водоемам и лесам южного Заволочья. Прибалтийско-финская колонизация Севера происходила незадолго до продвижения русских на эту территорию, а частично, может быть, и одновременно с ним. На карте 1 показаны основные направления движения прибалтийских финнов на Север и юго-восточная граница сплошного распространения прибалтийско-финских названий вроде Веркола — 'Сетевое', Ихальнема — 'Чудесный мыс', Канзапелда — 'Народное (семейное?) поле', Кузонемь — 'Еловый мыс', Кундаранда — 'Общинный берег', Лембонема — 'Чертов мыс', Монепелды — 'Многополье', Рандольня — 'Береговое', Сетала — 'Дядино', Тетерьма — 'Тетеревиное место'.

Особенно много прибалтийско-финских названий в Белозерском крае, бассейнах Онеги и Пинеги. Значит, прибалтийские финны незадолго до русской колонизации освоили северо-западную половину Заволочья. Это полностью подтверждается и лексикой русских говоров Севера, где немало прибалтийско-финских заимствований: лахта — 'залив', мянда — 'сосна', сарга — 'полоска (дранки, лыка)', уйта — 'болото, сырое место'. Изучение топонимической и нарицательной лексики показывает также, что прибалтийско-финским племенам Севера было известно подсечно-огневое земледелие и скотоводство. Об этом говорят, в частности, топонимические основы: каск- и пал- — 'пожога' (Касконемь, Палонемь), карья- — 'скот'



(Карьяполье), хайн — ‘сено’ (Хайнова), хярг — ‘бык’ (Хяргокор) и другие.

Но и прибалтийские финны не были первоначальным населением северо-западного Заволочья. Более того, они, видимо, не жили здесь сплошной массой, а переселялись сюда отдельными колониями, разобщая и ассимилируя племена своих предшественников. Примечательно, что в русских говорах Севера насчитывается множество слов, необъяснимых на прибалтийско-финской почве, но увязываемых с саамским языком (чёлма — ‘пролив’), с волжско-финскими (шардун — ‘двухгодовалый самец оленя’) и пермскими (виска — ‘протока’) языками. Уже отсюда следует, что для Севера был характерен в высшей степени пестрый языковой ландшафт: небольшие племена и колонии близко и отдаленно родственных чудских племен проникали на Север с запада, юга и востока, смешивались и ассимилировали друг друга.

Топонимика в какой-то мере позволяет разобраться в этой сложной картине: она берет на службу картографирование и статистику, изучает характер географических объектов и исторические памятники, и постепенно начинают вырисовываться еще более древние пласты названий. Так, прибалтийско-финскому топонимическому слою предшествовал мощный саамский слой. Оказывается, саами (лопари) жили раньше не только на Кольском полуострове, в Финляндии, Швеции и Норвегии, но и на русском Севере. Саамские элементы топонимики Севера очень интересны: к ним относятся и знаменитые Соловки (Соловецкие острова), что в сущности означает просто ‘острова’ (саамское *suolov* ‘остров’), и многочисленные названия с характерными саамскими основами *нюхч-* (Нюхча) ‘лебедь’ и *чухч-* (Чухча) ‘глухарь’ (см. карту 2). Возможно, лебедь был священной птицей древних саами. Во всяком случае, в археологических памятниках Севера часто встречаются изображения водоплавающей птицы. В саамской топонимике мы уже не находим терминов, относящихся к подсечно-огневному земледелию и скотоводству. Охота и рыболовство — вот главные занятия лесных саами Севера.

Саамский пласт в целом древнее прибалтийско-финского. Это хорошо доказывают смешанные саамско-прибалтийско-финские названия вроде Чухченема (Чухче + нема) — ‘Глухариный мыс’, в котором первый элемент — саамский, а второй — прибалтийско-финский. Однако на юго-востоке Заволочья и саамская, и прибалтий-

ско-финская топонимика отстывает. Здесь мы встречаем совершенно своеобразные названия, занимающие как бы промежуточное место между западными (прибалтийско-финско-саамскими) и южными (волжско-финскими).

Эти топонимы удобно называть севернофинскими. Посмотрите на карту 2. Черная линия ограничивает чисто саамскую основу *чёлм-* (Чёлмус) — 'пролив' от ее севернофинского соответствия *сельм-* (Сельменьга), которое отмечено только в топонимике и существенно отличается от фонетически наиболее близкого финского *salmi* 'пролив' (откуда и севернорусское нарицательное *салма* с тем же значением). Здесь же (карта 2) на юго-востоке района сосредоточены и речные названия на *-важ*, которые можно объяснить только на волжско-финской или волжско-финско-пермской почве (марийское *важ*, коми-зырянское *вож* 'ответвление реки, рассоха').

Обратимся теперь к бассейну реки Устья, крупного правого притока Ваги. Здесь даже чисто прибалтийско-финские слова *vehmas* 'густой' и *selkä* 'лесная грива' получают не прибалтийско-финскую огласовку (Вагмас и Шалга). Были ли это настоящие прибалтийские финны? Видимо, нет. И в этом случае правильнее говорить о промежуточном севернофинском типе названий, заполняющем одну из чистых страниц древней дописьменной истории нашего Севера.

Проблема севернофинского компонента в топонимике Севера ближайшим образом связана и с проблемой загадочной мери, некогда мощного народа, известного уже готскому историку Иордану (Merens). Мерю считали то прибалтийско-финским племенем (А. Л. Погодин), то ответвлением марийцев (М. Фасмер), но и меряне скорее всего занимали промежуточное языковое положение между прибалтийскими финнами и саами; с одной стороны, и волжскими финнами — с другой. Попробуем показать это, рассмотрев одну из самых распространенных на Севере основ, встречающуюся в вариантах *яхр-*, *ягр-*, *явр-* и имеющую значение 'озеро' (она часто встречается в названиях, относящихся к озерам: Рушеягр, Сезехра и т. п.). В южной части района находим основу *яхр-* (Яхреньга), причем непосредственно на территории древнего мерянского поселения: один из притоков Галичского озера, на берегу которого находился Галич Мерский, до сих пор называется Яхромша. Сюда примыкает и зона распространения фонетически близкой основы *ягр-* (Ягрема), и только

на крайнем севере района выступает саамский вариант основы *явр-* (саамское *jawte* 'озеро').

Этот пример иллюстрирует связь мерянских и саамских элементов и позволяет утверждать, что мерянская топонимика была близка к промежуточному севернофинскому типу, не являясь ни прибалтийско-финской, ни волжско-финской. Вместе с тем вряд ли стоит отрицать и возможность проникновения на Север слов, близких к собственно волжским языкам: ср. марийское *энгер* 'река', например Опэнгер — 'Белая река', и названия на *-енгерь* в бассейне реки Устья вроде Ошенгерь. Ведь Север заселялся прежде всего из волжско-окского междуречья, и сюда могли проникнуть чисто волжские элементы. На это указывают также некоторые лексические заимствования в русских народных говорах: ср. хотя бы *чинговатый* 'очень твердый, не поддающийся пиле' и марийское *чингга* 'мелко-слоистое дерево, которое трудно пилить, колоть'. Паразитичны и топонимические названия Икса и Луденга с марийскими основами *икс-* и *луд-* (марийские *икса* 'протока', *лудо* 'утка').

Если с юга в Заволочье проникали волжане, то с востока туда просачивались коми. Замечательные примеры коми-зырянской топонимики находим в низовьях Вапки, где сейчас живет только чисто русское население: Байдовожа — 'Ивовый приток', Войвожа — 'Северный приток' и т. д.

Таким образом, все топонимические данные ясно указывают на то, что дорусское население Севера представляло собою сложный, неоднослойный конгломерат различных финских племен: прибалтийских финнов, саами, волжских финнов, пермян (коми), севернофиннов. «Мозаичный» топонимический ландшафт закономерен в условиях длительных относительно мирных контактов различных финно-угорских племенных групп, которые заселяли Север в разное время и с разных территорий, но влияли друг на друга, смешивались и ассимилировались, так что русские могли непосредственно общаться не только с прибалтийско-финско-саамским, но и с более древним населением.

О происхождении дорусских названий Севера споры идут уже более ста лет. Много за это время удалось объяснить, но далеко не все. В этом причина появления самых разных, иногда очень рискованных гипотез о происхождении дорусской топонимики Севера. Так, некоторые ученые

вслед за Д. Европеусом пытаются найти на Севере угорские элементы, близкие к современному венгерскому, мансийскому и хантыйскому языкам. Никто еще не представил убедительных доказательств существования на Севере угорской топонимики, но полностью отрицать такую возможность нельзя, особенно для южных частей этой территории. Надо только искать несомненные угорские элементы, а они до сих пор не обнаружены.

Так, название деревни Керас можно связывать и с мансийским *керас* 'скала' и с коми-зырянским *керӧс* 'возвышенность, гора', а название реки Корбанга — и с мансийским *хоруп* (коруп) 'кедровник', и с карельским *когвӧ* 'глухой лес'. Не лучше обстоит дело и с самодийским пластом, о котором пишут некоторые исследователи. В самодийских языках отсутствует начальное *p*, обычное для финно-угорских. Однако Север дает множество названий с начальным *p* в самых разнообразных топонимических типах: Розменьга, Роменьга, Ремлюга, Рандога, Родома, Рухтома, Рудас, Равдус и т. д. Это означает, что в основной массе дорусский топонимический материал Севера не является самодийским, но может быть финно-угорским.

Наконец, есть и такой взгляд, что до финно-угров на Севере жили таинственные не индоевропейские и не финно-угорские племена, родственные древнейшему населению Сибири. Вопрос об общих сибирско-севернорусских топонимических соответствиях пока что плохо изучен, хотя и отмечены очень соблазнительные соответствия вроде *Кем* (тюркское название Енисея) и нескольких рек *Кема* на русском Севере. Видимо, связь Сибири и Севера в принципе отрицать нельзя, но о ее характере судить трудно: ведь одни и те же топонимические элементы могли сохраниться у очень отдаленных по происхождению и даже совсем неродственных народов, в частности при заимствовании исходных нарицательных слов.

Нельзя переоценивать и показания лексических заимствований: в русских говорах Севера отмечено множество нерусских заимствованных слов, происхождение которых неясно. Таковы названия типов болот: *чарокса*, *калтус*, *пентус*. Но откуда известно, что все эти слова не принадлежат вымершим финно-угорским языкам? В саамском языке треть словарного состава (в том числе слова со значениями 'вода', 'земля', 'снег' и т. п.) не имеет соответствий в финно-угорских языках. Поэтому существова-

ние на русском Севере дофинно-угорской топонимики остается только гипотезой.

В топонимике и нарицательной лексике русских говоров Севера содержится много загадок. Решить их нельзя, не пополняя все время материал, не собирая драгоценные следы давно вымерших бесписьменных языков. Изучение дорусской топонимики говорит о том, сколь сложен был процесс формирования русской народности на Севере, позволяет правильно определить роль, которую играли в этом процессе чудское население и его язык.

Доктор филологических наук
А. К. МАТВЕЕВ
Свердловск

ВЛИЯНИЕ БЫЛО ВЗАИМНЫМ

Наукой установлено, что наши далекие предки, восточные славяне, продвигаясь с места своей древнейшей родины, с берегов Припяти на север и восток, вошли в тесный контакт с финно-угорскими племенами в V—VIII веках нашей эры. «На бѣлѣозерѣ сѣдаты весь, а на ростовскомъ озерѣ мерѣ, а на кленьщинѣ озерѣ мерѣ же. А на оцѣ рѣцѣ где вѣтечетъ въ Волгу, мурома языкъ, свои, и черемиси свои языкъ, морѣдва свои языкъ, А перьвии насельници в Новѣгородѣ словѣне, въ полотьски кривичи, въ ростовѣ мерѣ, въ бѣлѣозерѣ весь, въ муромѣ мурома... И тѣми всѣми обладаше рюрикъ...» — сообщает наша древняя летопись. И, кто знает, может быть, у известнейшего древнерусского богатыря, выходца из Муромской земли, Ильи Муромца, текла в жилах смешанная славянская и финно-угорская кровь...

Продвижение славянских и финно-угорских племен навстречу друг другу шло мирно: славяне, занимавшиеся подсечным земледелием, корчевали леса для своих пашен и селились по берегам рек. Финно-угорские племена, занимаясь рыболовством и охотой, селились в лесах и по берегам озер. Торжища, места обмена продуктами земледелия, охоты и рыболовства, города, естественно, возникали по берегам рек и становились своего рода экономическими

центрами лесистого края Восточной Европы, а язык жителей этих городищ, славянский (древнерусский), получал больший авторитет по сравнению с другими языками этого края. Так начало складываться русско-финноугорское двуязычие с перевесом русского языка, знание которого оказалось экономически более необходимо, чем любого другого языка жителей Восточной Европы.

Таким образом, процесс движения славянских и финноугорских племен навстречу друг другу приводит не только к этническому скрещиванию, не только к продвижению славянского этнического элемента на Север и Восток, но, что самое важное, — ко все возрастающему процессу распространения русского языка на территории, некогда занимаемые финно-угорскими племенами и народами. Некоторые финно-угорские племена, упомянутые в летописи (Мурома, Меря, Вель), через стадию русско-финноугорского двуязычия полностью перешли на русский язык.

Между прочим, продвижение финно-угорских племен на запад продолжалось весьма длительное время. В летописи под 898 годом отмечается факт продвижения предков нынешних венгров: «Идоша угри мимо Кыѣвъ горою, еже са зоветь ныне угорская, и пришедьше къ Днепру сташа вежами...». Пройдя сквозь толщу славянских племен, предки венгров (угри) поселились на территории, ранее занятой славянскими племенами, и оказались там ведущим этническим элементом.

Процесс продвижения русского языка, идущий уже второе тысячелетие, продолжается и до сих пор. По данным переписи 1970 года, 13 млн. граждан нерусской национальности назвали русский язык родным языком. Среди них значительный процент составляют представители финно-угорских народов (мордовцы, марийцы, карелы, вепсы и др.).

Бесспорно влияние русского языка на финно-угорские, особенно в области словаря. Во всех финно-угорских языках огромное количество слов заимствовано из русского. Даже финский и венгерский не составляют исключения. А вот финно-угорское влияние на русский многими языковедами отрицается.

Академик А. Соболевский в свое время утверждал: «...Финская кровь, входившая в обилии в течение многих веков и входящая даже доселе в северо-восточную отрасль русского народа... не сделала русских северян ни финнами, ни финно-руссами. Она не оказала ни малейшего

влияния на единство русского языка. Кроме нескольких слов, существующих в окраинных северных и восточных говорах и чуждых русскому литературному языку, финны не внесли в русский язык ничего».

Другая группа лингвистов (Б. А. Серебренников, В. И. Лыткин, П. С. Кузнецов, А. М. Селищев и др.) видит объяснение некоторых специфических особенностей русского языка именно в финно-угорском влиянии. М. Фасмер, крупнейший специалист по русской этимологии и славянским древностям, подчеркивал, что финно-угорское влияние особенно ярко проявляется в русском устном народном творчестве. Не отвергал финно-угорского влияния на русский язык и академик А. А. Шахматов. Около полувека назад немецкий языковед Э. Леви выдвинул теорию финно-угорского субстрата (языковой подосновы) русского языка.

Так, финно-угорским влиянием некоторые лингвисты объясняют такие явления русского языка и его диалектов, как аканье, неразличение *a* и *o* в безударном положении: *сѡм* — *сѡм* = *сѡмѡ*. Некоторую параллель этому явлению находят в мордовском языке. Часто финно-угорским влиянием объясняют цоканье, неразличение *ц* и *ч*, известное некоторым русским народным говорам: «цырни спицецку, доцка, да запали пецку». Существуют попытки так же объяснить происхождение противопоставления твердых и мягких согласных в русском языке. Пытаются объяснить этим же способом переход *e* → *o*, особенно в безударном положении: *несу* — *нѣс*, а по говорам *и н'осѹ* — *н'ѡс*. Русский язык в отличие от других индоевропейских и славянских языков не только не сократил число падежных форм, но, наоборот, у нас наблюдается тенденция увеличения их числа: появляется как бы два родительных падежа (вкус чая и стакан чаю) и два предложных (живу в лесу и пою о лесе). А из всех языков мира именно финно-угорские характеризуются большим числом падежей: венгерский — 21—22, пермский — 17—18, финский — 15—17. Это дает некоторое основание видеть и здесь финно-угорское влияние.

В отличие от других славянских языков русский язык более последовательно ликвидировал родовые различия в формах множественного числа, а в некоторых говорах «растворяется» категория среднего рода. И в этом видят финно-угорское влияние на русский язык, так как финно-угорские не знают категории рода.

Полагают также, что и частица *-то*, употребляемая изредка в русском литературном языке («а рыба-то жареная») и широко в русских народных говорах, обязана своим происхождением финно-угорскому влиянию. Нечто похожее обнаруживается, например, в марийском и коми языках (Б. А. Серебренников). Считается, что и частица *-ка* в повелительном наклонении (взгляни-ка! запишетесь-ка!) связана с финно-угорским влиянием. Аналогично — в коми-пермяцком, где частица *-ко* выражает значение слабой просьбы (В. И. Лыткин).

Кардинальное отличие синтаксиса русского языка от синтаксиса других славянских языков заключается в весьма широком распространении так называемых номинативных предложений типа *Ночь. Зима*. Даже то обстоятельство, что в русском языке глагол в форме прошедшего времени не изменяется по лицам, склонны объяснять финно-угорским влиянием (Р. Готье, В. Скаличка).

Конструкции *я имею* в других индоевропейских и славянских языках соответствует русская конструкция *у меня есть*. Этот оборот свойствен финно-угорским языкам и его распространение в русском языке объясняют их влиянием.

У читателя может сложиться впечатление, будто русский язык развивается в сторону финно-угорской языковой структуры. Но это не так. Лет сорок назад Д. Бубрих заметил, что фонологическая система мордовского языка весьма близка русской. При этом он подчеркнул, что нельзя с полной уверенностью сказать, в каком языке те или иные процессы начались раньше. По Д. Бубриху, первые русско-мордовские контакты (не позже VIII в.), отразившиеся на взаимных лексических заимствованиях, свидетельствуют о специфическом сближении фонологических систем. Так, *эрья* (мордовское племя) трансформировалось еще по общеславянским законам (*tort, ort*) и отразилось в названии города Рязань, проявив уже (!) элементы яканья, характерные для соответствующих русских говоров, распространенных на этой территории. Очевидно, не только народы двигались навстречу друг другу, но и языки...

Однако прав и А. И. Соболевский: русский язык, распространяясь по финно-угорской территории, сохранял единство, славянский облик как во внутренней структуре, так и в словаре. Любое явление истории русского языка, как бы оно ни было похоже на финно-угорское по своему результату, можно надежно объяснить на славянском и

собственно русском материале. Исходя из славянской языковой структуры, можно объяснить происхождение аканья, цоканья и всех других явлений более убедительно, нежели финно-угорским влиянием.

Все дело в том, что в языке изменяется лишь то, что на определенном этапе его развития должно измениться. Только слабое звено языковой структуры, как заметил в свое время А. М. Селищев, подвержено иноязычному влиянию. Характер изменения, пути развития языкового явления опять-таки предопределяются его структурой. Лишь в тех случаях, когда два возможных пути дальнейшего развития языкового явления равновероятны, на чашу весов кладется иноязычное влияние. Вот почему русский язык, несмотря на финно-угорское влияние, всегда и всюду оставался и остается русским языком, хотя его развитие «учитывает» и соседство финно-угорских народов.

Доктор филологических наук,
профессор В. К. ЖУРАВЛЕВ

ФИННО-УГОРСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Финно-угры (финны, эстонцы, марийцы, мордва, коми, удмурты, венгры, манси, ханты и т. д.) испокон веков живут в соседстве с русским народом. Многовековое соседство отразилось и в их языках: финно-угорские народы заимствовали огромное количество слов из русского языка; в некоторых из них отражаются весьма древние черты языка-оригинала: венгерское *veréb* < древнерусское **верѣб* 'воробей', финское *lusikka* < древнерусское *лъжька* 'ложка', мордовское *пондо* < древнерусское *пѣдъ-* коми (XIV в.) *чаш'* < древнерусское *чаша* (с мягким *ш*) и т. д. В свою очередь финно-угры оказали большое влияние на русский язык, в особенности на севернорусские диалекты. Финский ис-

следователь Яло Калима, например, в севернорусских диалектах насчитывает до 500 слов, заимствованных из прибалтийско-финских языков. Этот же автор, а также А. К. Матвеев — свыше 100 слов, заимствованных из коми языка.

В русском литературном языке, сложившемся южнее места жительства финно-угров, слов финно-угорского происхождения сравнительно мало. Мы приведем здесь наиболее распространенные из них. В русский литературный язык попали слова из самых разнообразных финно-угорских языков (приведем примеры нарицательных существительных из русского литературного языка). [В скобках даем год издания словаря русского языка, в котором впервые зарегистрировано данное слово; в литературный обиход оно могло попасть значительно раньше.]

Из прибалтийско-финских языков: *кámбала* (1780); *карбáс* (1792); *пáлгус* (1782); *пéрмский*, *пермякí* (1864) — производные от *пермь* (<от вепсского *perǎ таа* 'задняя земля', то есть Заволочье — так называли новгородцы северодвинский край и население этого края, впоследствии слово стало этнонимом для коми), новгородцы уже с XI века знают народность *пермь*, под которой, по-видимому, понимали в то время предков современных пермских народов (коми и удмуртов); *сáйда* (впервые встречается в Словаре Даля); *салáка* (впервые в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона); *сёмга* (1731); *сиг* (1782) — слово встречалось уже в Домострое; *сорба́га* (1852); *таймéнь* (1794); *тúндра* (1794); *нёрпа* (1847) — в русских памятниках письменности встречается значительно раньше (например у Аввакума); *хáриус* (1771); *ушкúй* 'старинная плоскодонная лодка' и *ушкúйник* (1794) из вепсского *ушкой* 'лодка', слово встречается в русской летописи с XIV века; *пурга́* (1847).

Из пермских языков: *пельмéни* (1847) из коми или удмуртского языка, ср. *пель нянь* 'ухо-хлеб', то есть 'хлебец, похожий на ухо', слово прошло через севернорусскую среду (*a* между мягкими согласными перешло в *e*), *м* из *нь* в силу диссимиляции; *пýжик* (1793) 'северный олень-теленок', в русских памятниках письменности впервые встречается в виде *пыжь* в 1522 году (Срезневский), слово заимствовано из удмуртского языка, ср. *пужей* 'олень'; *тýес* — областное, 'круглый бе-

рестяной короб с плотной крышкой' (1852, 1847), хотя в словарях это слово считают областным, но оно широко представлено в литературе, в московских магазинах продают (как сувенир) *туеский*, происходит от удмуртского *туйыс* (то же значение), производное от *туй* 'береста', эту посуду употребляют на севере; *югра* — древнее название обских угров (ханты и манси) (1864), в русских памятниках письменности употребляется с XI века (Лаврентьевская летопись), слово происходит от коми *йöгра* (так коми называют мансийцев и хантыйцев).

Из обско-угорских языков: *зыряне* 'дореволюционное название коми народа, живущего в Коми АССР' (1863), в настоящее время употребляется в сочетаниях *коми-зыряне*, *коми-зырянский* и т. д., раньше русские эту народность называли *пермь*, *пермяне*, позднее, в XVI—XVII веках, этот этноним был вытеснен словом *зыряне*, в русских памятниках письменности с конца XIV века мы встречаем название какого-то северного племени в виде *сырьяне*, *серьяне*, *серояне*, *зирьяне* и т. д., слово *зыряне* в русский язык попало из мансийского, ср. мансийское *саран* — так называют мансийцы своих западных соседей, коми народ; *морюшка* (1780), ср. мансийское название этой ягоды *морах*, хантыйское *морег*.

Из венгерского языка: *гуляши* 'венгерское национальное мясное блюдо' (1935 — Толковый словарь Ушакова) из венгерского *gulyás* — первоначально 'пастушечье (кушанье)', *gulyás* 'пастух'; *гусар* — до революции 'солдат или офицер кавалерийского полка, носящего форму венгерского образца' (1762), слово вошло в русский язык при Петре I (1701), происходит от венгерского *huszar*, образованного от *húsz* 'двадцать' — по числу всадников в определенном подразделении; *мадьяры* — самоназвание венгров (1864), слово употребляется наряду с *венгры*, в Толковом словаре Ушакова (1938): *мадьяры*, *мадьяр*, *мадьярка*; *паприка* 'красный стручковый перец' (1898) из венгерского *paprika*; *чардаш* — венгерский национальный танец (1864) из венгерского *csárdás* и т. д.

Мы здесь привели далеко не все финно-угорские слова, употребляемые в русском литературном языке. Если принять во внимание то обстоятельство, что многие областные слова постепенно входят в русский лите-

ратурный язык, перестают считаться областными, то количество слов финно-угорского происхождения значительно увеличится.

В советское время в русский литературный язык (через него в общенародный русский язык и языки всех народов СССР, частично и в языки зарубежных национальностей) из финно-угорских языков проникли главным образом этнонимы и названия населенных пунктов: *мари, мариец, марийский, удмурт, удмуртский, Удмуртия, коми, коми-пермяк, Коми АССР, Коми-Пермяцкий округ, ханты, хантыйский, манси, мансийский, эрзя, эрзянский (эрзя-мордовский), мокшанский, мокша (мокша-мордовский), саамы, саамский* (эти слова происходят от самоназваний финно-угорских народов); старые названия городов были заменены новыми, бытующими среди местного населения: *Йошкар-Ола* 'Красный город' (быв. Царево-Кокшайск), *Сыктывкар* 'Сысолы город', *Сыктыв* 'р. Сысола' (быв. Усть-Сысольск), *Кудымкар* (быв. Кудымкор), буквально 'город при устье р. Ку', *Ханты-Мансийск* (вновь образованный город; центр Ханты-Мансийского национального округа) и т. д.

На топонимах мы в данной статье не останавливаемся. Это особая тема. Скажем лишь, что около половины географических названий, встречающихся в северной половине европейской части СССР, по своему происхождению финно-угорские. А этих топонимов тысячи. Все они входят в словарный фонд русского литературного языка: Вологда, Рязань, Онега, Кама, Холмогоры, Вычегда, Вятка и т. д.

*Доктор филологических наук, профессор
В. И. ЛЫТКИН*

28 мая. Пахомов день. Пришел Пахом запахло теплом.

31 мая. Федотов день. Придет Федот — последний дубовый листок развернет. Коли на Федота на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой.



ЗАКОН МНОГОЗНАЧНОСТИ СЛОВА



Слово — это не только одна из центральных категорий языка, но и понятие, которым постоянно оперируют все люди, независимо от их профессий, взглядов и убеждений. Выражают мысли и чувства с помощью *слов*, прислушиваются к *словам* окружающих людей, усваивают новые или незнакомые *слова*, изучают *слова* других языков, вспоминают забытые *слова* родного языка и т. д. Несмотря на, казалось бы, простую очевидность *слов*, само понятие *слова* до сих пор остается одним из сложнейших в науке о языке.

Слово — это сложное единство материального (звуки, формы) и идеального (значения). Сложность определяется здесь прежде всего тем, что большинство слов любого развитого языка характеризуется многозначностью.

Проведем такой простой, всем доступный эксперимент. Раскроем большой Толковый словарь русского или польского, французского или испанского, английского или немецкого языков. Перелистывая такой Словарь в разных местах выборочно, подсчитаем, сколько многозначных слов находится на той или иной странице каждого отдельного Словаря. Этим способом исследуем двадцать — тридцать страниц. Если затем подведем итог по способу «среднего арифметического», то получится, что около восьмидесяти процентов слов в любом из перечисленных языков (с не-

большими колебаниями в зависимости от конкретного языка) предстанут перед нами как слова многозначные. Однозначными окажутся либо некоторые производные слова (например *вздохнуть* от *вздохать*), либо термины, то есть наименования, относящиеся к определенной, строго очерченной области знания (*азот, гипотенуза, дифтонг* и т. д.).

Отсюда следует очень важный вывод: подавляющее большинство слов любого современного живого языка, имеющего длительную литературную традицию, являются словами многозначными.

Но как понимать *многозначность* слова? Здесь-то и возникают серьезные трудности.

Сначала проведем еще один простой эксперимент. Из множества значений русского прилагательного *глубокий* выделим только два: 'имеющий значительное протяжение сверху вниз' (*глубокий колодец*) и 'серьезный, выдающийся' (*глубокий мыслитель*). Теперь вообразим, что перед нами два разных прилагательных, звучащие одинаково и не соприкасающиеся по своим значениям. Каждое из этих двух воображаемых слов сейчас же лишится того объема, который свойствен одному многозначному слову *глубокий* в современном русском языке. Если переносное значение *глубокий* (*глубокий мыслитель*) перестанет восприниматься, в частности, на фоне его же пространственного осмысления (*глубокий колодец*), то «потухнет» и переносное значение, которое в живом естественном языке усиливается самим фактом взаимодействия разных значений, в нашем случае — физического (пространственного) и переносного.

Разумеется, многозначность (полисемия) слов осложняет лексику, но вместе с тем дает ей возможность стать великолепным средством передачи бесконечно многообразных и разнообразных мыслей и чувств людей, живущих в обществе. Выдающиеся лингвисты прошлого прекрасно понимали отмеченную особенность многозначности (полисемии). У нас об этом писали, в частности, А. А. Потебня и Л. В. Щерба (см., например, анализ около десятка значений существительного *игла* в книге: Л. В. Щерба. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958, стр. 70—73). Французский филолог М. Бреаль считал полисемию «признаком приобретенной цивилизации», а датский лингвист О. Есперсен отождествлял воображаемый искусственный язык, лишенный многозначности слов,

с адом, в котором люди говорили бы с помощью «плоского и беспомощного» средства коммуникации.

Истолкование полисемии довольно резко изменилось в пятидесятые — шестидесятые годы нашего века. Многие лингвисты в разных странах стали утверждать, что в «идеальном языке» каждое слово должно иметь лишь одно значение, которое в свою очередь может передаваться лишь с помощью одного слова. У нас, в частности, совсем недавно об этом писали авторы коллективной монографии «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка» (М., 1968, стр. 121): «... в идеале каждому отдельному значению соответствует отдельный языковой знак в его материальном воплощении».

При поверхностном подходе к языку данный тезис действительно может показаться удобным и убедительным: сколько слов, столько и значений, сколько значений, столько же и слов. Между тем подобное соотношение превратило бы язык в автоматическое устройство, лишенное всякой выразительности, всякой национальной специфики, всякого движения. В действительности язык не есть сумма этикеток, сумма названий, каким он неизбежно стал бы, опираясь на принцип равенства слов и значений. Язык — это сложная система, служащая не только для простого именованья предметов и явлений, но и для выражения мыслей и чувств людей, живущих в современном мире. К тому же принцип равенства слов и значений превратил бы язык в неподвижное устройство, лишенное «способности» передавать движение от конкретного к абстрактному, от буквального к фигуральному, от частного к общему.

Слово *спутник* сравнительно давно известно русскому языку. Но значение этого слова не сводится только к «лицу, находящемуся в пути (в дороге) вместе с кем-либо». В известных случаях та или иная черта характера может быть «*спутником* человечества» (Пушкин). В наше время и город иногда оказывается *спутником* другого города («город-*спутник*»). Издавна существовали небесные тела, движущиеся вокруг планет и звезд. Они могли быть *спутниками* Земли, Юпитера или другого небесного тела. Но вот искусственные *спутники* Земли появились лишь в нашу эпоху. Можно ли сказать, что все эти старые и новые значения одного и того же слова *спутник* прошли мимо основной его семантики — «лицо, находящееся в

пути вместе с кем-либо? Разумеется, этого сказать нельзя. Целая гамма старых и новых значений одного и того же существительного *спутник* помогают ему быть и старым и новым словом одновременно, помогают ему быть в распоряжении мышления современного человека.

Теперь представим себе, что для каждого нового значения *спутника* потребовалось бы новое слово. Выиграл бы от этого язык? С поверхностной точки зрения может показаться, что ответ здесь должен быть положительным. В действительности это совсем не так. Чисто количественное расширение языка сопровождалось бы его качественным ухудшением и ослаблением. Дело даже не только в том, что пришлось бы бесконечно увеличивать число слов, функционирующих в языке. Новые и старые слова стали бы терять те смысловые связи друг с другом, которые характерны для них в естественных языках народов мира. В наши дни искусственный *спутник* в астрономии и связан со *спутником* в «житейском» осмыслении и отличается от него. Вместе с тем и в «житейском» осмыслении не все значения *спутника* одинаково употребительны. Все это создает ту гамму непрерывных и постоянных смысловых переходов, ту иерархию значений, которая глубоко характерна для любого живого развитого языка.

Лексика языка увеличивается не только и даже не столько количественно, сколько качественно: появляются новые значения у старых слов, переосмысляются соотношения между их старыми и новыми значениями. Количественное увеличение словаря, само по себе важное, но не поддержанное его качественными трансформациями, привело бы к утрате преемственности в смысловом развитии языка.

Но если сказанное справедливо, то почему же многие лингвисты в разных странах продолжают подчеркивать, что принцип «одно слово — одно значение, одно значение — одно слово» является «идеалом всякого языка»? Защита этого совершенно ошибочного тезиса объясняется стремлением рассматривать количественные методы исследования разных явлений, как методы основные, совершенно независимо от специфики того объекта, к которому сами эти методы применяются. Между тем количественные методы, центральные в области математических наук, в лингвистике могут применяться весьма ограничено, в силу своеобразия самого языка, изучаемого в

этой науке. Когда же не считаются с природой языка, то неизбежно и притом грубо ее искажают.

Один из создателей кибернетики, Джон Нейман, подчеркивал, что «язык мозга не есть язык математики». Мозг человека не действует по принципу «черно-белой логики»: либо черное, либо белое, да или нет, ноль или единица и т. д. (см. об этом: А. Берг, И. Новик. Развитие познания и кибернетика.— «Коммунист», 1965, № 2, стр. 24—27).

И все же лексическая полисемия ставит перед исследователями множество трудных вопросов. Органичность полисемии еще не означает, что она сама по себе очевидна. Полисемия продолжает нуждаться во все новых и новых обоснованиях.

В примерах с прилагательным *глубокий* и существительным *спутник* многие из отмеченных значений существуют в языке одновременно, синхронно. Другие значения появляются позднее и тем самым сосуществуют со старыми значениями не на всех этапах бытования языка. Возникает вопрос: как следует понимать многозначность слова в процессе исторического развития языка (ди-ахронно)?

Современное понятие *восстать* ‘поднять восстание’ может выражаться разными словами, в том числе и глаголом *восстать*. Но значения слова *восстать* были в первую половину прошлого столетия несколько иными, чем в наше время. В эпоху Пушкина, например *восстать* — это прежде всего ‘встать’, ‘подняться’. В «Графе Нулине»:

Восстав поутру молчаливо,
Граф одевается лениво.

В современном языке иначе. *Восстать* — это прежде всего ‘поднять восстание’. Все другие значения глагола отодвинулись на второй план. При установлении полисемии этого или иного слова следует считаться с тем, о какой эпохе в жизни языка идет речь. Полисемия одного исторического периода часто не совпадает или лишь частично совпадает с полисемией другого исторического периода.

Когда теоретик классицизма Буало в своем «Поэтическом искусстве» (1674) призывал поэтов «любить *природу*» (*nature*), то он не подозревал, что само слово *природа* позднее, примерно через сто лет, сначала у Жан Жака Руссо, а затем и в литературном языке вообще, приобретет еще одно значение — ‘загородные места’ (поля, леса,

горы). Во времена Буало *природа* такого значения еще не имела. Для Буало, как и для его современников, *природа* — 'натура человека', поэтому «изучать природу» в ту эпоху звучало как призыв изучать человеческую «душу», а отнюдь не «поля, леса и горы». В Европе эти последние стали предметом поэтического изображения лишь во второй половине XVIII столетия. Поэтому при установлении многозначности слова *природа* исследователь обязан считаться с тем, о какой эпохе и каком языке идет речь в каждом конкретном случае.

Основное значение слова одного исторического периода может оказаться неосновным или даже вовсе отсутствовать в другой исторический период. Лингвист не имеет права не считаться с динамикой непрерывного развития языка. Вместе с тем он же обязан учитывать и различие между состоянием лексики в одну эпоху и состоянием лексики в другие эпохи, и многообразные формы взаимодействия между разными эпохами, между разными лексическими системами.

Еще один сложный вопрос возникает при изучении полисемии. Постараемся обратить на него внимание и осветить хотя бы общие его контуры.

В лингвистике наших дней широко распространена концепция, согласно которой сумма разных значений полисемантического слова равняется сумме контекстов, в которых данное слово употребляется. Если, например, слово *стол* в русском языке — это и 1) определенный предмет мебели, и 2) питание, пища и 3) отделение в учреждении, то только потому, что три разных типа контекста создают видимость трех разных значений слова: в комнате находится большой *стол* (мебель), в этом санатории прекрасный *стол* (питание), справочный *стол* (отделение в учреждении). При таком истолковании проблемы сама полисемия сводится к сумме возможных контекстов, в которых фигурирует анализируемое слово. Подобная интерпретация многозначности по существу точно так же сводит ее на нет, как и ее прямое отрицание.

В самом деле. Возвращаясь к нашим примерам, получим, что существительное *стол* или прилагательное *глубокий* не многозначны сами по себе как элементы русской лексики, а многозначны лишь в той степени, в какой разные контексты создают разные значения, точнее — создают видимость разных значений у тех или иных слов.

В подобном истолковании полисемия отрицается, если не прямо, то косвенно. Между тем полисемия — результат обобщения, результат группировки и исторического наращивания разных значений в пределах одного слова. Если скрепы, соединяющие разные значения одного слова, по тем или иным причинам распадаются, то перестает существовать и многозначное слово, образуя новое явление — омонимию (*омонимы* в этом случае — слова, звучащие одинаково, но уже не связанные между собой по смыслу в сознании говорящих на данном языке людей). Так, *стол* в старом значении 'престол' в русском языке наших дней оказывается уже омонимом по отношению к столу в трех, только что перечисленных живых его значениях.

Как ни сложна проблема разграничения полисемии и омонимии (это особая проблема, которая здесь не рассматривается), несомненным является следующее: употребительные и распространенные разные значения одного и того же слова живут в сознании людей, говорящих на родном языке, не в сумме разных контекстов, а в единстве своих обобщений. Для русского человека *глубокий* выступает в двух основных значениях (пространственном и переносном) одновременно, как факт самого языка, подобно тому, как и слово *стол* оказывается многозначным в силу тех же свойств лексики, а следовательно, и языка. Контекст может лишь уточнять эти значения, но не предопределять их каждый раз заново, если сами различные значения уже установились и стали общим достоянием лексики определенной эпохи. В. В. Виноградов в совсем другой связи в свое время правильно подчеркивал: «Вне зависимости от его данного употребления слово присутствует в сознании со всеми своими значениями» (Русский язык. М., 1947, стр. 14).

Остановимся, наконец, еще на одной несостоятельной попытке свести на нет многозначность слова.

Хорошо известно, что полисемия широко опирается на различные переносные осмысления слова, в том числе и на его эмоциональные значения. Возвращаясь к тому же примеру с прилагательным *глубокий*, можно отметить, что его переносное значение — 'серьезный по содержанию' — предстает не только как переносное, но и как более эмоциональное по сравнению с его же пространственным значением — 'имеющий большую глубину вверх или вниз'. Исходя из этих общеизвестных фактов, иногда искажают

всю проблему, рассуждая так: эмоциональные ассоциации тех или иных слов с теми или иными понятиями могут быть субъективными. Одним людям иногда кажется одно, другим — другое. Ведь известно, что молодой Л. Толстой связывал существительное *изюм* с «богатством» («У меня есть деньги»), а существительное *шишка* — с чем-то «визящим, но не щегольским» (Юность, глава 29).

Подобные замечания бьют, однако, мимо цели. Разумеется, отмеченные ассоциации со словами *изюм* или *шишка* никакого отношения к языку как средству общенародного общения не имеют. И сам Л. Толстой, разумеется, это прекрасно понимал, подчеркивая случайность и условность подобных «сцеплений». Но чувства и чувственные ассоциации бывают не только случайными, но и закономерными.

Когда *глубокий* выступает в своем переносном значении, то последнее давно уже стало достоянием языка и воспроизводится в речи говорящих закономерно, совсем не так, как когда-то «воспроизводились» в тесном толстовском кругу ассоциации *изюма* и *шишки* с эмоциями домашнего масштаба. В русском языке наших дней существительное *лапа* по отношению к «руке человека» всегда выступает эмоционально окрашенным, но подобная эмоциональность закономерна и объективна и не зависит от «домашнего обихода». И таких слов в русском, как и в других языках, великое множество. Именно поэтому, когда речь идет о переносных, а иногда и о переносно-эмоциональных значениях слов, лингвист опирается на столь же строгие и объективные данные, как и при анализе непереносных и неэмоциональных значений слов.

Несостоятельность критики полисемии слова с только что рассмотренных позиций очевидна. Такая критика опирается на доктрину, согласно которой эмоциональное «начало» в языке будто бы неизбежно приводит к выводам необъективным, к заключениям субъективного характера. Между тем в действительности эмоциональные ресурсы языка столь же существенны и объективны, как и его логические (понятийные) ресурсы.

В свое время Гоголь, восхищаясь языком Пушкина, заметил, что в каждом слове поэта «бездна пространства». Но даже великий писатель не смог бы показать чудеса этой лексической «бездны» русского слова, если бы общенародный язык, которым, шлифуя и развивая его же,

писатель передавал свои мысли и чувства, одновременно не предоставлял ему подобной возможности. Многозначность слова позволила Пушкину заглянуть в «бездну» возможностей самого слова.

Многозначность слов естественных языков народов мира — это одна из важнейших особенностей их лексики, одна из важнейших особенностей человеческого языка вообще. Именно поэтому следует говорить о законе многозначности слова, о законе лексической полисемии.

Р. А. БУДАГОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

О М О Н И М Ы

(Ответы. См. стр. 87)

1. В первых двух предложениях — многозначность слова *сошлись*, в третьем — омоним (от *ссылаться*).

2. *Простой вагона*; *побег с каторги*; *сплав леса*; *нога протеста*; *подъемный кран*; *юркая ласка*; *неравный брак*; *женский пол*; *увявал* вопрос (с чем-либо).

3. *Льва* — *лева*, *меха* — *мехи*, *слéпит* — *слепит*.

4. *Расти* (неопределенная форма глагола), *расти* (повелительное наклонение от *расти*) и *расти* (повелительное наклонение от *растить*).

5. *Вели*, *мели*, *вышили*, *лечу*.

6. *Морфология*, *аморфный* — *морфий*, *морфин*; *педиатр*, *педология* — *педадь*, *мопед*; *территория*, *terrариум* — *террор*, *терроризировать*.

7. 1) *Мешать* ложечкой сахар в стакане — *помогать* его растворению.

2) Разбить цветник.

3) Прут.

4) Орел.

5) Панама.

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Беседа третья

В третьей, последней беседе с поступающими в вузы мы на ряде примеров покажем, как нужно отбирать грамматический материал по определенной теме, анализировать его, делать выводы. Допустим, на экзамене вам необходимо дать развернутый ответ на следующий вопрос из курса фонетики: «Согласные звуки. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. Употребление буквы *-ь* для обозначения мягкости согласных на письме».

Формулировка вопроса обязывает начать рассказ с определения согласных звуков в русском языке. Согласные звуки отличаются от гласных наличием шумов, которые при произнесении образуются в полости рта. Произнесение некоторых согласных звуков, например *б, д, ж*, сопровождается голосом и шумом.

Звуки речи образуются при выдыхании воздуха из легких. Воздух проходит через гортань, а затем через полость рта, иногда полость носа. Голос возникает в гортани в результате колебаний голосовых связок, шум — в полости рта, так как при произнесении отдельных звуков воздух на своем пути встречает преграды, создаваемые органами речи. Струя выдыхаемого воздуха проходит через гортань, «прорываясь» через натянутые связки, она приводит их

в колебание, образует голос. Иногда струя воздуха проходит через гортань свободно, не образуя голоса. Далее: струя воздуха с голосом или без него проходит через полость рта (при звуках *м, н* — через полость носа); при произнесении звуков *а, о, у* она не встречает преград (гласные звуки), при произнесении *б, в, г* и других звуков встречает преграды, создаваемые органами речи (нижней и верхней губой, языком и зубами, языком и нёбом).

Согласные звуки по участию голоса и шума при их произнесении делятся на звонкие и глухие, по наличию или отсутствию мягкости — на твердые и мягкие. Звонкие при произнесении сопровождаются звучанием голоса, глухие произносятся без участия голоса.

Целесообразно далее рассказать о том, что звонкие согласные могут оглушаться, то есть произноситься как соответствующие им парные глухие. Назовите хотя бы следующие случаи оглушения звонких: 1) на конце слова звонкие согласные *б, в, г, д, ж, з* переходят в глухие: дуб [д^уп], рукав [рук^аф], воз [в^ос]; 2) в середине слова звонкие согласные перед глухими тоже переходят в глухие: лавка [ла^фка], беседка [бес^етка], сторожка [стор^ошка]. И наоборот: глухие согласные перед звонкими озвончаются: сбегать [збег^ать], молотьба [молодь^ба], отбросить [одбр^осить]. Завершая эту часть рассказа, сообщите состав согласных с учетом их звонкости и глухости.

1. Парные звонкие и глухие согласные:

б — б^ʹ; в — в^ʹ; г — г^ʹ; д — д^ʹ; ж — ж^ʹ; з — з^ʹ

п — п^ʹ; ф — ф^ʹ; к — к^ʹ; т — т^ʹ; ш — ш^ʹ; с — с^ʹ.

Примечание: б — твердый звук; б^ʹ — мягкий звук; ж^ʹ — звук *ж*, долгий мягкий (вожжи); ш — звук *ш*, долгий мягкий (ищу).

2. Непарные, всегда звонкие: л — л^ʹ; м — м^ʹ; н — н^ʹ; р — р^ʹ.

3. Непарные, всегда глухие: х, ц, ч.

Далее необходимо отметить, что в языке наблюдается и другой вид изменения согласных — по мягкости. Нельзя забывать, что твердые и мягкие согласные — это разные звуки; твердость и мягкость служат средством различения смысла слов: был — бил, стал — сталь. Затем целесообразно охарактеризовать мягкие и твердые согласные.

1. Парные твердые и мягкие: б — б^ʹ, в — в^ʹ, г — г^ʹ, д — д^ʹ, з — з^ʹ, к — к^ʹ, л — л^ʹ, м — м^ʹ, н — н^ʹ, п — п^ʹ, р — р^ʹ, с — с^ʹ, т — т^ʹ, ф — ф^ʹ, х — х^ʹ.

2. Согласные, которые бывают только твердыми: ж, ш, ц.

3. Согласные, которые бывают всегда мягкими: щ, ч.

В заключительной части ответа желательнее осветить основные положения об употреблении буквы *ь* для обозначения мягкости согласных. Этот вопрос сложный, и вам нужно четко выделить хотя бы главное и обосновать его. Вначале целесообразно назвать те случаи, когда употребление *ь* для обозначения мягкости согласных при письме не вызывает трудностей. Это: 1) употребление буквы *ь* в конце слова: огонь, брось, медведь; 2) в середине слова перед твердыми согласными: просьба, кольцо; 3) после мягкого *л* перед любым мягким согласным: пельмени, Изольда, вскользь.

Не забудьте также сделать небольшое уточнение: мягкость согласных *ч* и *щ* не отмечается буквой *ь*; например в словах *ночь, помощь* буква *ь* указывает на род этих существительных (женский) и склонение (3-е). Необходимо отметить, что в сочетаниях *чк, чн, нч, ниц, рщ, рч* буква *ь* не пишется: ночной, каменщик, птенчик, ручка, ларчик. Можно сформулировать это правило и по-другому: 1) после *ч* и *щ* в середине слов *ь* не пишется, исключение составляют глаголы неопределенной формы типа *улечься, стричься*; 2) перед *ч* и *щ* после согласных (кроме *л*) *ь* не пишется (бетонщик). Можно включить и следующее правило: если слово оканчивается на два согласных, причем мягкость последнего отмечена буквой *ь*, то предыдущий мягкий, если это не *ль*, уже не отмечается буквой *ь*: жизнь, болезнь, червь и др.

Другой вопрос из курса морфологии, который часто вызывает у абитуриентов затруднения, — о разграничении качественных, относительных и притяжательных прилагательных.

Все прилагательные обозначают постоянный признак предмета, тем не менее одни прилагательные называют такой признак предмета, который воспринимается нами непосредственно, другие называют его не прямо, а через отношение одного предмета к другим. И есть прилагательные, которые указывают на принадлежность предмета какому-либо лицу или животному. В зависимости от того, какой признак обозначается прилагательным, они и делятся на качественные, относительные и притяжательные.

Остановившись далее на характеристике качественных прилагательных, вы отмечаете, что к этой группе от-

носятся как раз те прилагательные, которые обозначают признаки, качества предметов, воспринимаемые нами непосредственно. Чаще всего это качество может быть свойственно предмету в большей или меньшей степени: большой дом, очень большой дом; темное пальто, более темное пальто и т. д. Когда раскрывают грамматические особенности качественных прилагательных, обычно говорят о возможности образовывать степени сравнения (приятный, приятнее, приятнейший) и наличии у них полной и краткой формы: красный, -ая, -ое, -ые, красен, -а, -о, -ы.

Желательно указать и на другие грамматические признаки. Так, только качественные прилагательные поясняются словами со значением меры и степени (удобный, мало удобный, очень удобный); только они имеют уменьшительные, ласкательные суффиксы (светлый, светленький, светловатый), могут входить в антонимические пары слов (добрый — злой, холодный — горячий), по преимуществу от этих прилагательных возможно образование наречий на -о, -е: громкий — громко, искренний — искренне.

На наш взгляд, в ответе следует оговорить, что указанные признаки не охватывают всех качественных прилагательных. Например, качественные прилагательные с суффиксом -к- не образуют простых форм сравнительной и превосходной степени (дерзкий, липкий, тряский и др.); нельзя образовать степени сравнения от прилагательных типа *мертвый, женатый, холостой*, хотя краткую форму они имеют.

Характеризуя относительные прилагательные, отметьте, что они обозначают признак не прямо, а через его отношение к другому предмету, явлению. Далее желательно конкретизировать это положение и указать, что относительные прилагательные обозначают: 1) отношение к лицу: детский голос; 2) материал, из которого сделан предмет: соломенная шляпа; 3) назначение предмета: токарный станок; 4) отношение ко времени и месту: сельский пейзаж, утренняя зарядка; 5) отношение к отвлеченному понятию: религиозное заблуждение.

Поскольку большинство относительных прилагательных указывают на признак через его отношение к предмету, это делает возможным замену их существительными с предлогами: январские морозы — морозы в январе, хрустальный бокал — бокал из хрусталя. Ответ можно дополнить указанием и еще на одну особенность относительных прилагательных: для них характерны в большинстве слу-

чаев словообразовательные суффиксы *-ан, -ян, -ск* (серебряный, кожаный; заводской, пионерский); *-ов, -ев* (шелковый, ситцевый).

Говоря о притяжательных прилагательных, нужно помнить, что они представляют собой разновидность относительных, обозначают принадлежность какого-либо предмета определенному лицу (реже животному). В эту группу вы включаете прилагательные на *-ий, -ья, -ье, -ьи* (типа *лисий*) и на *-ин, -ын; -ов, -ев*, причем прилагательные типа *лисий* обозначают общую родовую принадлежность, прилагательные на *-ин (-ын), -ов (-ев)* — принадлежность одному лицу: бабушкин платок. Таких прилагательных немного, употребление их в языке ограничено разговорным стилем речи, в литературной речи они чаще вытесняются словосочетанием с существительным в родительном падеже: *отцова комната* — *комната отца*. Правда, употребляются они и как составные элементы устойчивых оборотов речи типа *крокодиловые слезы*, а также в научной терминологии: *вольтова дуга, базедова болезнь*.

Нужно подчеркнуть, что эта группа прилагательных — основа образования многих фамилий, географических названий: *Киев, Иваново, Кожин* и др. Смешивать подобные существительные с притяжательными прилагательными нельзя. Вероятно, не следует забывать и о том, что притяжательные прилагательные отвечают на вопрос «чей?»; часто в силу привычки учащиеся ставят к ним вопрос «какой?», особенно к прилагательным типа *лисий*.

И последнее замечание: качественные и относительные прилагательные в современном русском языке не являются изолированными группами. Граница между ними подвижна, многие относительные прилагательные переходят в качественные. Правда, при таком переходе прилагательные приобретают переносное значение и чаще всего употребляются в языке художественных произведений: «Вдруг, рассекая потемки, *золотой* лентой взвилась к небу ракета...» (Чехов. Святой ночью); «Матвей, который кончил свое чернорабочее, *медвежье* дело, уже опять в церкви...» (Чехов. Художество).

Посмотрим теперь, как целесообразнее построить ответ по одному из вопросов синтаксиса.

Допустим, что вам необходимо раскрыть общее понятие о сложном предложении. Обращаясь к понятию «сложное предложение», вы указываете, что оно представляет собой

единое смысловое целое и может состоять из двух или нескольких частей, которые по своей структуре однотипны с простыми предложениями. Затем вы иллюстрируете высказанную мысль. С этой целью лучше всего сопоставить простые и сложные предложения. Ход ваших рассуждений может быть таким. Записываются следующие предложения:

1. Прозрачный лес один чернеет.
2. Ель сквозь ипей зеленеет.
3. Речка подо льдом блестит.

Прозрачный лес один чернеет,
и ель сквозь иней зеленеет,
и речка подо льдом блестит.

А. С. Пушкин

Вы отмечаете, что в каждом предложении левого столбца высказывается одна мысль; слова связаны между собою по смыслу и синтаксически. Каждое предложение характеризуется интонацией законченности. Справа дано сложное предложение, в нем заключена одна «сложная» мысль, выраженная не одним, а тремя предложениями. Затем вы анализируете характер интонации в сложном предложении. Интонация законченности, сопровождающая простое предложение, заменяется интонацией повышения; разделительная пауза, обозначаемая на письме точкой, заменяется паузой соединительной, обозначаемой на письме запятой. Интонация законченности характерна лишь для конца сложного предложения.

Далее следует выделить способы соединения простых предложений в сложное. Вы указываете на два способа:

1) без союзов, с помощью пауз и интонации: «Заунывный ветер гонит стаю туч на край небес, ель надломленная стонет, глухо шепчет темный лес» (Н. Некрасов);

2) с помощью союзов: а) «Осенью рябина краснеет, а береза желтеет» (К. Паустовский); б) «Не погаснет солнца свет лучистый, если верит партии народ» (Л. Ошанин).

На основе анализа этих примеров вы делаете вывод о союзных и бессоюзных сложных предложениях.

Итак, в своих беседах мы попытались помочь вам разобрататься в специфике экзамена по русскому языку на гуманитарные факультеты, дать ряд советов тем, кто после длительного перерыва готовится самостоятельно к экзамену, наконец, привести примерные ответы. Надеемся, что эти советы в какой-то мере окажутся полезными для тех, кто в этом году будет сдавать экзамен по русскому языку.

П. С. ПУСТОВАЛОВ



НАТАШИН ПОДАРОК

За окошком привязала
Я для птичек ломтик сала.
Пригодится им зимой
Небольшой подарок мой.

И прелестные синички,
Две подружки, две сестрички,
Прилетели под окно,
Видят — сало, не зерно.

«У нас остренький носок,
Расклюем мы весь кусок!
Ведь зимой у птичек голод,
Страшен голод в лютый холод.

Сало кормит нас и греет,
И летаем мы быстрее.
А тебе спасибо, Ната,
Что жалеешь ты пернатых»

КОТЯТА

Наша кошка — кошка-мама.
Пять хорошеньких котят,
Все в полоску, как в пижамах,
То едят, то сладко спят.

Неужели эти крошки
Тоже станут мамы-кошки,
Будут бегать за мышами?..
Оставайтесь малышами!

ЛОСЁНОК

Вот бежит ко мне лосёнок,
Он большой, а все ж ребенок:
Не грызет кору и ветки,
Сливки пьет и ест конфетки.

СОРОКА

На суку сидит сорока,
Что зовется белобока,
Не поет, а лишь стрекочет,
Мне сказать как будто хочет:
«Приоденься: будут гости —
Маня, Таня, Петя, Костя.
Я — волшебница-сорока:
Кто не выучил урока,
Я узнаю без труда
И сегодня и всегда».

МОЙ ГОСТЬ

К нам в окошко воробей
Залетел нечаянно.
Испугался воробей,
Закричал отчаянно.
«Успокойся, мой дружок!
Любят птичек люди,
Съешь с вареньем пирожок,
Что лежит на блюде.
А не нравится еда,
Улетай на волю.
Вспомни, птвичик, иногда
Маленькую Олю».

В. В.



СЛОВАРЬ ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ

Продолжение.
Начало см.: 1971, № 4—6, 1972, № 1, 2)

лёмех и доп. лемéх
лесá и лёса [не лёса]
лэска [не лёска]
летосчислénние [не летоисчис-
ление]
лечь; повел. ф. ляг, лягте [не
ляжь; ляжьте]
лиловéть [не лиловеть]
ли́тер, -а, муж. (документ)
ли́тера, -ы, жен. (буква)
лоза́ [не лóза]
ломбта́ [не ломотá]
лоску́т [не лóскут]
лосни́ться (устар. лóсниться)
лосо́сь и доп. лóсось
лотере́я [не та]
лотб́чик (шн)
лубб́к [не лубок]
лубб́чный [не лубочный]
лы́чко, -а, сред. [не лычка, -и,
жен.]
лягу́шечий и лягуша́чий

Магази́н [не магази́н]
макаро́ны, -он [не -онов]
ма́льчиковый (разг. и проф.
мальчи́ковский)

манёвр [не манéвр]
манёвренный́ [не манéврeнный]
манжéта, -ы, жен. [не манжéт,
-а, муж.]
ма́рганцевый и марганцо́вый
мармелáд [не мармалáд]
маскиро́вать [не маскíровать]
мастерсќй (разг. ма́стерски)
матёры́й (устар. матерóй)
матра́с и доп. матра́ц
меблиро́ванный [не мебелпрó-
ванный]
медикамéнты [не меди́каменты]
мéлочный (разг. мелочнóй)
мельком́ [не мелькóм]
меньшинство́ [не меньши́н-
ство], множ. меньши́нства
[не меньшинствá]
метастáз, -а, муж. [не метастá-
за, -ы, жен.]
металлур́гия и доп. металлур-
гíя
мизёрный (разг. мízерный)
миксер (с'е)
миллиме́тр [не миллíметр]
мимикр́ия [не мимíкрия]
ми́нусовый (разг. минусóвый)

млекопитающее [не млекопитающеся]
многочисленный, крат. ф.
многочислен [немногочисленен]
модель (дэ)
модернизм (дэ)
мозоль, -ли; жен. [не мозоль,
-ля; муж.]
молодёжь [не мблodeжь]
монолог [не монблог]
монпансё [не монпасё]
мотель (тэ)
музей (з'е)
мусоропровод [не мусоропрб-
вод]
мытарство [не мьтарство]
мышление и доп. мышление
мюзикл [не мюзикл]
мясопоставки [не мясопостав-
ки]
Набаловать [не набаловать]
набело и доп. набелó
наведённый [не навёденный]
навезённый [не навёзенный]
навёк (разг. навек)
навёрх (разг. наверх)
наголо (о стрижке)
наголо (вынув из ножен)
наготове [не наготовё]
нагруженный и доп. нагружён-
ный
надолго (обл. надолго)
надушенный и надушённый
наём [не найм]
нажитый, и доп. нажитый и на-
житой
назло (разг. назло)
налитый и доп. налитый (устар.
налитой)
наложённый [не наложный
(платеж)]

намерение [не намерёние]
нанятый и доп. нанятóй
наперегонки и доп. наперегонки
напёрченный и доп. напёрчён-
ный
наречённый (устар. наречён-
ный)
нарочно (шн)
настороже (устар. настороже)
настороженный и насторожён-
ный
настрогать и настругать
нагруженный (устар. нагру-
жённый)
наученный [не научённый];
начать [не начать]
небытие (разг. небытиё)
невёжественный, крат. ф. не-
вёжествен
недуг [не нёдуг]
нейрохирургия (н'е)
некролог [не некрблог]
непревзойдённый [не непрев-
збйденный]
нефтепровод [не нефтепрбвод]
нивелировать [не нивелиро-
вать]
никчёмный (устар. никчём-
ный)
питяный и доп. питяной
новорождённый [не новорбж-
денный]
ножевой и доп. ножбвый
ноль и нуль
нормировать (разг. нормиро-
вать)
носок; множ. носки; -ов [не
носók]
нулевой и нолевóй

(Продолжение в следующем но-
мере)

СТАРИННЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ

Потребность в единицах измерения возникла из практической деятельности человека. Строил ли человек жилище, изготовлял ли орудия, обрабатывал ли землю, занимался ли торговлей, всегда он сталкивался с необходимостью применения измерений. Измерения касались протяжения, объема и веса.

На ранних этапах развития человеческого общества эталоном для мер длины оказалась сама природа, то есть человек (его рост, стопа, ширина ладони, пальца и т. д.) и окружающие его предметы, поэтому меры разных народов обнаруживают иногда поразительное сходство.

Все многообразие старинных русских мер длины связывается с названиями: 1) частей человеческого тела и их движений (локоть, пядь, вершок, сажень, шаг и т. п.); 2) процессов трудовой деятельности (верста, гон); 3) орудий труда (весло, косье); 4) тех предметов, которыми производилось измерение (вервь, кол, шест и т. п.).

Среди мер длины можно выделить неопределенные, приблизительные, так называемые «народные меры», которые основываются на естественных пропорциях человеческого тела, и меры точные, официальные, утвержденные государством или традицией.

К XVII веку в Московском государстве установилась метрологическая система, состоящая из версты, равной 500 или 1000 сажням, сажени—3 аршинам, аршина—16 вершкам. С небольшими изменениями она просуществовала до введения действующей у нас сейчас метрической системы. Однако народные меры продолжали употребляться наряду с официальными. Некоторыми из них мы пользуемся и до сих пор в нашей повседневной жизни.

В словаре старинных мер длины приведены в алфавитном порядке названия мер длины, встречающиеся в памятниках русской письменности, а также названия мер длины, отмеченные в словарях русских народных говоров.

Г. Я. РОМАНОВА

АЛДАН — мера длины (якутское, забайкальское), равная расстоянию между кончиками пальцев, вытянутых на уровне плеч рук (из бурятского *alda* (п) 'маховая сажень'). «Вымеренный в длину зарод сена даст столько алданов, сколько в длину сажений» (Словарь русских народных говоров).

АРШИН — появляется в памятниках русской письменности с конца XV века (в грамоте 1488 года). Термин усвоен благодаря торговле с Востоком и первоначально употреблялся только как мера тканей, привозимых через Турцию и Крым. Во второй половине XVI века иностранные купцы и путешественники, посетившие Московское государство, пишут об аршине как о мере исключительно для иностранных тканей, имевших хождение на русских рынках. Торговый агент Английской компании для торговли с Россией Джон Гасс в своей записке 1554 года о деньгах, весе и мерах, принятых в России, говорит относительно русских мер длины так: «Они (русские) имеют также два вида мер длины, чем они измеряют как льняные, так и шерстяные ткани. Одну из них они называют аршин, другую — локоть... Аршином они измеряют все сорта тканей, которые ввозятся в страну, а локтем все льняные и шерстяные ткани, которые производят сами».

В результате политики правительства Московского государства в середине XVI века, направленной на введение единых мер по всей стране, аршин становится единственной мерой для всех тканей, о чем свидетельствует, например, итальянец Рафаэль Барберини, посетивший Московию в 1564 году: «Мера московская для полотен, сукон, материй и тому подобного называется аршин, а другой меры нет».

Таким образом, утверждение аршина в качестве меры длины в русской метрологической системе происходило за счет вытеснения более старой русской меры *локоть*. Длина аршина не была постоянной на всем протяжении его бытования в русском языке: аршин XVI века был равен 68,5 см (аршин такого размера употреблялся в Турции, и русские усвоили не только название, но и величину меры); в XVII веке аршин был соотнесен с саженью в 216 см и стал равен $1/3$ ее (72 см); с введением в России сажени, равной 7 английским футам, аршин как ее третья часть стал равен 71,1 см.

БАТОГ, **БАДОГ** — мера длины, равная от аршина до двух аршин, применялась на Урале и в Сибири при измерении дров и скярд.

ВЕСЛО — мера для измерения глубины воды (колымское, якутское).

ВЕРЕВКА, **ВЕРВЬ** — мера длины, но чаще площади. Измерение земельных угодий с помощью верви, веревки было употре-

бительно у русских на Крайнем Севере, где этот способ измерения земли дожил вплоть до XIX века.

ВЕРЖЕНИЕ КАМНЯ — расстояние, на которое летит камень, брошенный рукой человека. Метрологи определяют это расстояние равным 20 саженим, около 42,5 м. Это описательное выражение для определения расстояний встречается начиная с самых ранних памятников древнерусского языка. Его мы находим уже в «Хождении» игумена Даниила в Святую землю (начало XII в.). Иногда это описательное выражение для определения длины может несколько уточняться: при определении расстояния «вержением камня» подчеркивается, что человек, бросающий камень, должен быть достаточно сильным. В «Просквинитарии (Паломнике)» Арсения Суханова (1649—1653): «якобы дважды вержением камня сильного мужа».

ВЕРСТА — название крупных единиц для измерения расстояний. Оно могло присваиваться мерам различным по протяжению. Известны версты в 500, 700, 1000 саженой. Наибольшее распространение, начиная с XVIII века, получает верста в 500 саженой (1066 м). Термин *верста* в значении единицы для измерения расстояний возник у восточных славян в процессе сельскохозяйственной практики. Этимологически *верста* связана с глаголом *вертеть* и первоначально обозначала «оборот плуга», а отсюда и длину борозды пашни от поворота до поворота плуга на конце пашни. Но уже в самых ранних памятниках древнерусской письменности мы встречаемся с термином *верста* в качестве путевой меры.

ВЕРШОК, ВЕРХ — 1/16 часть аршина. В значении меры длины употребляется в памятниках письменности с XVI века. «А коли лучитца какое платно кройти молоду сыну или дочери или молодой невѣсткѣ... и кроячи загибати, вершка по два и по три» (Домострой). Первоначально слово *вершок* (уменьшительное от *верх*) обозначал «верхнюю фалангу указательного пальца», а заменяемую при измерениях. На Крайнем Севере мы находим слово *верх* в значении «вершок». Об этом свидетельствуют не только диалектные словари, но и тексты былин, записанных на Севере: «Да снимал съ ворота старой чуденъ крестъ... Въ толщину-то крестъ былъ двухъ верховъ» (Онежские былины, Кенозеро).

ВОДА — расстояние, которое можно проплыть в промежутке между приливом и отливом. Определялось обычно в 30 верст (архангельское, беломорское).

(Продолжение в следующем номере)



ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

● О СНОБАХ И СНОБИЗМЕ

Читательницу «Русской речи» В. А. Орлову из Черниговской области интересует современное употребление слова *сноб*: не пертерпевает ли оно изменений в своем содержании в сравнении с теми определениями, которые даются ему в словарях.

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, а также «Большая Советская Энциклопедия» толкуют слово *сноб* следующим образом: «Человек, безоговорочно преклоняющийся перед модой, перед всем, что принято в так называемом высшем свете (в буржуазно-аристократическом обществе)». При этом указано происхождение слова из английского языка и даже точно сообщено время и источник его заимствования: 1848 год, из «Книги о снобах» английского писателя-сатирика В. Теккерея. Словари единодушно отмечают заключенную в содержании слова *сноб* внешнюю, преимущественно бытовую характеристику человека.

Толкование словарей подтверждается употреблением слова в литературе XIX века: «Ставя идеалом своим во внешности сноба, я должен был постараться избавиться от робости, застенчивости и всегдашней щепетильности своей ранней юности» (Брюсов. Из моей жизни); «Сноб есть человек, который лезет знакомиться вне своего круга, хвастается своей дружбой с князем Г., тратит последнюю сотню целковых на лондонский фрак с принадлежностями, надевает белый галстук для того, чтоб отобедать у своего родного брата, дает балы и при этом случае превращает собственную и женину спальню в комнату для игроков или, пожалуй, в столовую» (Дружинин. Письма иногороднего подписчика).

Примеры употребления слова *сноб*, *снобы* показывают, что в русском литературном языке содержание его быстро вышло

за рамки чисто внешней бытовой характеристики. Будучи словом оценочного характера, оно оказалось приложимым к разным сторонам того явления, которое оно характеризует. Трудно представить себе, чтобы тщеславное желание выделиться среди окружающих своим внешним обликом: модным костюмом, шикарным экипажем, изысканными манерами и т. п. — не сопровождалось также и стремлением подчеркнуть свое превосходство. Безобидное, несколько комическое поведение «мещанина во дворянстве» неизбежно перерастает в высокомерие, претенциозность, пренебрежительное отношение к окружающим, а это влечет за собой и соответственное наполнение слова *сноб*, распространяющегося на эти проявления более глубоким морально-этическим содержанием, более острым обличительным общественным смыслом.

Академические словари русского языка в своих толкованиях отмечают оттенки содержания слова *сноб*: «Человек, претендующий на изысканно-утонченный вкус, манеры, на особый, исключительный круг знаний и интересов, слепо подражающий тому, что принято в обществе».



Убедительно подтверждают эти оттенки смысла примеры из литературно-художественных и публицистических текстов нашего времени: «Скептический взгляд на жизнь считается у литературных снобов главным условием хорошего вкуса» (Маршак. — Стенографический отчет I съезда писателей); «Молодой столичный писатель, из модных, Феликс Гуров... однако парень не безнадёжный, не желающий показаться „зазнайкой и снобом“... вылетает на Север» («Новый мир», 1965, № 8).

Мы встречаем слово *сноб* в таких словосочетаниях: эстеты и снобы; изнеженные снобы; скучающие снобы и т. д. Примеры литературного употребления этого слова, а также производных от него — *снобизм*, *снобистский* и др., говорят о том, что сфера их

использования неуклонно расширяется, распространяясь на проявления зазнайства и чванства, пренебрежительного отношения к людям труда, высокого гражданского долга, к людям демократического, реалистического творчества, понятного миллионам. О таком насыщении слова новыми, социально-политическими по своему содержанию оттенками смысла свидетельствуют такие, например, контексты: «Бюрократический мир — мир особый... мир производств, чинов и орденов. Он весь код знаком карьеры. В результате — сознание собственного значения, чиновочитание, низкопоклонство и, полагаю, как известное следствие всего этого — снобизм» (Юрьев. Записки).

Таким образом, обогащение первоначально внешней, бытовой, а затем более глубокой морально-этической социальной окраски, присущей словам *сноб*, *снобизм*, *снобистский*, еще более острыми, политическими и идеологическими оттенками придает этим словам большую обличительную силу.

Н. М. Меделец

● ЯЗЫЧНИК

Многие читатели интересуются происхождением слова *язычник*. Язык относится к тем словам русского языка, которые в течение многих веков сохранили свои основные значения. В древности, как и теперь, оно обозначало 'язык, орган речи': «Съ въпросимъ. кто тайну может хранити? и отвѣща. иже уголь горячь может возложить на языкъ» (Спросили его: кто может хранить тайну? и ответил он: тот, кто уголь горящий положить может на свой язык) — Пчела. XIV в.

Сама речь, говорение тоже назывались языком. Связь этих двух значений создала множество словосочетаний, выражений, афоризмов, где конкретность фразы дает тем не менее переносный смысл: «держи язык за зубами» — 'молчи'; «проглотил язык» — 'молчит'; «развязал язык» — 'разговорился'.

Древние тексты с этим словом очень интересны по содержанию, это назидания и нравоучения, заключающие в себе вековую мудрость. Нам она знакома по пословицам и поговоркам и понятна без перевода: «Языкъ паче всего учися держати» (Менандр. XIV в.); «Не омочивъ языка въ умъ, много сгрѣпиши въ словѣ» (Пчела). Достаточно их сравнить с современными «Поменьше говори, побольше услышишь» или «Не спеши языком, торопись делом», чтобы понять, что отношение древних к этому свойству человеческой природы — желанию поговорить — было таким же, как и теперь.

В юридической терминологии Древней Руси есть выражение *без языка* 'молча; без слов'. «Умереть без языка» значило умереть, не оставив наказа, не сделав завещания. По «Русской Правде», древнейшему своду законов, если «без языка» умирала мать, у которой были взрослые дети, то имущество ее переходило к тому из детей, у кого она жила: «Без языка ли умереть, то у кого будет на дворъ была. и кто ю кърмилъ. то тому взяти».

Языком называли человека, от которого можно было узнать нужные сведения. В случае, когда кто-либо покупал ворованную вещь, не зная об этом, «Русская Правда» предписывала, ведя расспросы, восстановить тот путь, который проделала эта вещь от человека к человеку, чтобы найти вора. Это называлось «йти по языку»: «Не вѣдѣ у кого есмь купилъ. нѣ по языку ити до конца. а кдѣ будетъ конечный тать» (Русская Правда по списку XIII в.).

Во время войны противники старались взять языка. Об этом говорит, например, летописная запись под 1185 годом, когда князь Игорь, перейдя Донец и подойдя к Осколу, два дня ждал брата: «Ту же к нимъ и сторожеви приѣхаша. их же бяхуть послалъ языка ловить» (летопись по Ипатьевскому списку).

Одно из основных значений слова *язык* — 'язык, как средство общения людей', 'язык, на котором говорит народ'. В этом значении оно употребляется с древнейших пор. Отсюда *языком* называли также 'сам народ, говорящий на данном языке'. Вот как записал летописец тревожное известие о нашествии на Русь татаро-монгольских полчищ в 1224 году: «По грѣхомъ нашимъ придоша языци незнаеми. их же добръ никто же вѣсть. кто суть и отколе изидоша. и что языкъ ихъ. и которого племени суть. и что вѣра ихъ» (За грехи наши пришли народы неведомые, которых толком никто не знает: кто они и откуда, каков язык их, какого они племени и какой веры) — летопись по Новгородскому списку.

Поясним форму *языци*. В древнерусском языке именительный падеж множественного числа имен мужского рода имел окончание *-и*: столъ — столѣ. Звук *к*, смягчаясь перед гласной переднего ряда, переходил в *ц*, поэтому мы и находим форму *языци*. То же фонетическое условие было перед *ѣ* в предложном падеже: *о языцѣхъ*.

В современном языке значения 'народ' у слова *язык* по существу нет. Поэтому пояснения требует строка пушкинского стиха:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

Но часто бывает так, что исчезнувшее значение оставляет в языке свои следы. В современном языке встречается выражение «притча во языцех» — «предмет общих разговоров», «то, о чем все говорят». В современной морфологической форме оно выглядело бы как «притча в языках», а в современном переводе — «притча среди народов (в народах)». Сравни обычное для древних текстов выражение «Явися господь въ всѣхъ языцѣхъ».

Следует сказать, что одна из самых распространенных ошибок в речи даже людей с образованием — неправильное ударение во множественном числе слов *языки, языков*: «Он изучает иностранные языки»; «Институт иностранных языков». Даже в старом языке такое ударение было правильным лишь при употреблении *язык* в значении «народ». Для современного литературного языка оно звучит как обычная неграмотность.

В самых древних русских памятниках письменности от слова *язык* находим два прилагательных: *язычьныи* (краткая форма *язычьнѣ*) и *язычьскыи* (краткая форма *язычьскѣ*). Интерес представляет первое: *язычьникъ* могло быть образовано только из *язычьный*.

Первому значению *язык* «орган речи» соответствует в прилагательном значении «языковъый». В Палее, памятнике, содержащем различные сведения по естественным наукам, читаем: «По средѣ же усть [в середине рта] есть языкъ чютье имыи [имеющий чувствительность] и о горцѣ [о горьком], и о сладцѣ [о сладком]»; «Язычная ж та плоть рѣтка есть акы сито».

Второму значению *язык* «речь, говорение» соответствует «языкатый, языкастый», то есть «многословный, сварливый», «такой, который за словом в карман не полезет». В качестве примеров приведем два мудрых житейских правила, которые в качестве совета могут пригодиться и современному человеку: «Не сварися съ члвкъмъ язычьнѣмъ.и не накладай на огонь его дровѣ» (Не спорь с языкастым — не подливай масла в огонь) — Сборник 1076 г.; «Уне жити въ пустыни съ львомъ и съ змиею, неже жити с женою лукавою и язычною» (Лучше жить в пустыне со львом и змеем, чем с женщиной хитрой и языкастой) — Пчела.

Что касается значения *язык* «народ», то у прилагательного *язычьныи* можно ожидать «народный, принадлежащий народу». Однако в русских памятниках мы этого значения не находим, что само по себе еще не свидетельствует об отсутствии его в языке. Вместе с тем широко представлено значение «языческий»: «Язычьнии бзи. камене бездушное и дрѣво есть» (Языческие боги — это безжизненные камни и дерево) — имеется в виду тот факт, что язычники поклонялись идолам из камня и дерева (Лобковский пролог. XIII в.).

Интересно, что в памятниках есть примеры, которые дают повод предполагать некоторую связь значений 'язычник' и 'языкастый'. Дело в том, что многословие и громкоговорение осуждались правилами христианской морали, быть *язычным* 'языкастым, бражливым' считалось недостойным христианина. Особенно тихо и смиренно христианин разговаривал с богом. Полную противоположность ему в этом отношении представлял собой язычник (так, во всяком случае, утверждали древние проповедники). Вот один из примеров: «О(т) еуаглия. Ре(ч) г(с)ь молящеся не лихо глите, яко и язычници творять, мнять бо, яко во мнозѣхъ рѣчехъ послушани будуть. не уподобитесь убо имъ» (Из Евангелия. Говорит господь: молясь, не говорите много, как это делают язычники, думая, что раз они многословны, то и услышаны будут! не уподобляйтесь им) — Пчела.

Но это только предположение. Скорее можно допустить, что возникновение у *язычных* значения 'языческий'шло таким путем: 'принадлежащий племени, народу' (поскольку у слова *язык* было значение 'народ, племя') — 'принадлежащий чужому племени, народу' (*язык* имело значение 'иноплеменник') — далее 'чуждый, нехристианский' и, наконец, 'языческий'. Данная смысловая цепочка недостаточно убедительно подтверждается материалом древнерусских памятников. Взять хотя бы то обстоятельство, что *язычными* в значении 'иноплеменный' в русских памятниках почти не встречается. Прямая связь понятий 'народный' и 'языческий' не оправдывается самой историей возникновения и распространения христианства.

Современные этимологические словари объясняют буквальным переводом с греческого *язычными* 'языческий'. В греческом языке отдельным значениям нашего *язык* соответствовали два разных слова: *гlossa* 'язык' (во рту) и *этнос* 'речь'. При переводе с греческого на древнерусский слово *этнос* 'народ' передавался словом *языкъ*, а прилагательное *этникос* 'народный, языческий' — *язычными*. Отсюда и *язычники*.

В современном русском литературном языке *язычник* имеет одно значение — 'последователь язычества, идолопоклонник'. Но смысловые нити его корня тянутся и к значению 'язык, речь'. Так, в просторечии *язычником* называют того, кто знает много языков. Известно также *язычник* — шутивное название языковеда. Безусловно, это связано с тем, что прилагательное *язычный* потеряло связь со значением *язык* 'народ', и *язычник* 'идолопоклонник' современному языковому сознанию представляется внутренне немотивированным.

Н. В. Чурмаева



ПРАКТИКУМ ПО СТИЛИСТИКЕ

(Ответы. См. стр. 33)

I

1. Больше всех городов туристам понравился Тбилиси.
2. Для произведений А. П. Чехова характерны мелодичность и музыкальность фразы.
3. Он вспомнил друзей своей юности и затосковал о них.

II

Вежливый — учтивый, корректный, предупредительный, обходительный, любезный, деликатный; кургузый (устаревшее); галантный (по отношению к женщине);

мастер — умелец, виртуоз; артист, искусник, специалист, спец (разговорное); мастак (просторечное);

обоснованный — основательный, аргументированный, оправданный, правомерный, законный; резонный (разговорное);

склон — скат, откос, уклон;

шалун — проказник; озорник, баловник, баловень, бедокур, сорванец, пострел (разговорное).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. И. БОРКОВСКИЙ (главный редактор),
В. А. БЕЛОШАПКОВА, Е. А. ВАСИЛЕВСКАЯ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ,
В. Я. ДЕРЯГИН, И. Г. ДОБРДОМОВ, Л. М. ЛЕОНОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора),
Л. И. СКВОРЦОВ, Ю. С. СОРОКИН, Ф. П. ФИЛИН,
Н. Ю. ШВЕДОВА

и. о. отв. секретаря В. А. ЕРЕМИН

Адрес редакции: Москва Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25

Зав. редакцией *И. М. Беспалова*

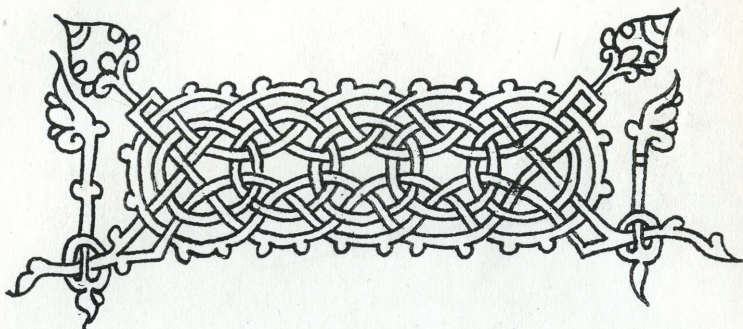
Художники *Ю. И. Космынин, В. В. Толстоногов*

Художественный редактор *Т. А. Михайлова*

Корректоры *Н. Н. Глаголева, Н. М. Кузьмина*

Сдано в набор 11/II—1972 г. Подп. к печ. 10/IV—1972 г. Т-05047 Тираж 70000
Формат бумаги 84×108/32. Усл. печ. л. 8,4 Бум. л. 2,5 Уч.-изд. л. 9,7 Зак. 155

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10



РУКОПИСНЫЙ ОРНАМЕНТ

В страшные столетия татаро-монгольского ига на Руси погибло множество памятников письменности. Но и в этих условиях шел кропотливый процесс создания новых предметов культуры, искусства, письменности.

Книжное искусство Руси постоянно оживлялось влиянием балканской культуры. Особенно усилилось оно после вторжения турок на Балканы, когда большинство «книжных людей» из южнославянских стран переселилось на Русь. Среди них были люди, оказавшие заметное влияние не только на развитие книгописного искусства, но и на развитие русской литературы, например болгарин Григорий Цамблук и серб Пахомий Логофет.

На смену рукописям XIV века, писанным старшим полууставом и украшенным тератологическим орнаментом, приходят рукописи XV века с младшим полууставом и орнаментальными украшениями «балканского типа».

«Балканский» орнамент прочно завоевывает симпатии русских

книгописцев XV—XVI веков. Он представляет собой переплетения окружностей, восьмерок, прямоугольников и квадратов со скругленными или острыми углами. В заставках эти фигуры пересекаются, строго подчиняясь повторам и симметрии. Пересечения образуют новые фигуры. В результате возникает орнамент с ярко выраженным ритмом и сложным рисунком. Овладев принципами построения «балканского» орнамента, русский книгописец мог свободно сочинять собственные композиции.

Двойной контур рисунка, как правило, был киноварным, а промежутки раскрашивались и украшались точками, крестиками и даже элементами другого орнамента — «византийским вьюнком». В особенно дорогих рукописях рисунок выполнялся золотом. Инициалы в этой системе орнамента строились более свободно. Буквы читались легко и выглядели нарядно даже без дополнительной раскраски.

(Продолжение следует)

**В номере
СЛОВАРЬ ПРОИЗНОШЕНИЯ
И УДАРЕНИЯ**

лемех — нулевой



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»**